



A D M A R G I N E M

ЭРНСТ-
ЮНГЕР

НА МРАМОРНЫХ
УТЕСАХ

Р О М А Н

Э Р Н С Т Ю Н Г Е Р

ERNST JÜNGER

AUF DEN MARMORKLIPPEN



Klett-Cotta

ЭРНСТ ЮНГЕР НА МРАМОРНЫХ УТЕСАХ

Р О М А Н

Перевод с немецкого и послесловие
Евгения Воропаева



A D M A R G I N E M

УДК821.112.2-31
ББК84(4Гем)-44
Ю 50

Перевод с немецкого – Евгений Воропаев

Художественное оформление –
Андрей Бондаренко

В оформлении книги использован
фрагмент картины Макса Эрнста

Юнгер, Эрнст

Ю50 На мраморных утесах: роман; пер. с нем. и послесл. Евгения Воропаева. – М.: ООО «Ад Маргинем Пресс», 2009. – 256 с.

ISBN 978-5-91103-066-7

Юнгер писал «На мраморных утесах» в 1937-м, а читал корректуру уже на фронте, в 1939 году. Это был его первый художественный роман и одновременно изысканная эпитафия на надгробии всей предыдущей эпохи – временном отрезке между двумя мировыми войнами, когда консервативные взгляды еще не означали принадлежности к властной элите, а немецкие писатели еще могли быть желанными гостями в литературных салонах Парижа. Чуткое сердце чувствует пульс самой «истории в зародыше», возвышенный ум провидит неизбежное – скоро все будет кончено. Никто не спасет Большую Лагуну, этот маленький мир гармонии природы и человеческого духа, от варварских банд Старшего Лесничего, олицетворения насилия власти и хаоса, несомого алчной чернью. Рыцарь-аристократ, утонченный эстет вступает в борьбу со своим временем, он обречен, но бесстрашен, ведь за его плечами стоят разум, истина и вечность.

Этот романтический и беспощадный текст высокого модерна в 40-х стал манифестом стиля и борьбы для всей читающей Европы, без различия наций и языков.

ISBN 978-5-91103-066-7

© 1939, 1978 J.G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, Stuttgart
© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2009

Содержание

На мраморных
утесах

7

Несколько замечаний к роману
«На мраморных утесах»

235

Несколько слов о романе и авторе

Послесловие переводчика

240

I

Вам всем знакома щемящая грусть, которая охватывает нас при воспоминании о временах счастья. Как невозвратны они, и как немилосердно мы разлучены с ними, словно это было не с нами. И картины заманчивей проступают в отблеске; мы мысленно воскрешаем их, как тело умершей возлюбленной, которое покоится глубоко в земле и, подобно более возвышенному и духовному великолепию пустынного миража, заставляет нас содрогнуться. И в своих взыскующих грёзах мы снова и снова ощупью перебираем каждую подробность, каждую складку минувшего.

Тогда нам начинает казаться, будто мы не до самого края наполнили меру жизни и любви, однако никакое раскаяние уже не возвратит нам упущенного. О, если бы это чувство могло стать нам уроком для каждого мгновения счастья!

А ещё слаще становится воспоминание о наших лунных и солнечных годах, когда они внезапно заканчивались ужасом. Лишь тогда мы понимаем, какой же счастливый жребий выпадает нам, людям, когда мы беспечно живём в своих маленьких общинах, под мирной крышей, за сердечными разговорами и ласковым пожеланием доброго утра и спокойной ночи. Ах, мы всегда слишком поздно узнаём то, что уже этим был щедро открыт для нас рог изобилия.

Так и я мысленно возвращаюсь к тем временам, когда мы жили в Большой Лагуне, — лишь воспоминание воскрешает снова их волшебство. В ту пору, правда, казалось, что дни нам омрачает какая-то забота, какое-то горе; и прежде всего нас заставлял быть на чеку Старший лесничий. Поэтому мы жили в

некотором напряжении, одеваясь в простые одежды, хотя нас не связывала никакая клятва. Между тем дважды в год мы таки освещали красную пищу — раз весной и раз осенью.

Осенью мы пировали как мудрецы, отдавая должное превосходным винам лозы, растущей на южных склонах Большой Лагуны. Когда из садов между красной листвой и тёмными гроздьями до нас доносились оживленные возгласы сборщиков винограда, когда в маленьких городках и деревнях начинали скрипеть виноградные прессы и со дворов тянуло бодрящим запахом свежих выжимок, мы спускались к хозяевам, бочарам и виноградарям и вместе с ними пили из пузатого кувшина. Там мы всегда встречали весёлых товарищей, ибо край был богат и красив, там было место беспечному досугу, а шутка и хорошее настроение почитались здесь наличной монетой.

Так из вечера в вечер сидели мы за праздничной трапезой. В эти недели замаскированные сторожа с рассвета до поздней ночи с трещотками и ружьями обходят виноград-

ники, отстреливая прожорливых птиц. Они возвращаются запоздно с вязками перепелов, крапчатых дроздов и рябчиков, и вскоре затем их добыча, с виноградными листьями разложенная по большим блюдам, появляется на столе. Под новое вино мы с аппетитом уплетали также жареные каштаны и молодые орехи, но в первую очередь великолепные грибы, по которые в лесах ходят с собаками, — белые трюфели, изящные подосиновики и красные кесаревы грибы.

Пока вино ещё было сладко и сохраняло медовый цвет, мы дружно сидели за столом, за мирными разговорами и часто положив руку на плечо соседа. Но как только оно начинало действовать и раскачивать под ногами землю, просыпались могучие духи жизни. Тогда устраивались блестящие поединки, исход которых решало оружие смеха и в которых сходились фехтовальщики, отличавшиеся лёгким, свободным владением мыслью, какого достигаешь лишь в долгой и вольной жизни.

Но ещё больше этих часов, пролетавших в блестящем настроении, нам был мил тихий

обратный путь по садам и полям в глубоком опьянении, когда на пёстрые листья падала уже утренняя роса. Проходя Петушиныные ворота городка, мы видели высвечивающийся справа от нас морской берег, а по левую руку, ярко переливаясь в свете луны, поднимались мраморные утёсы. Между ними по холмам, на склонах которых терялась тропа, тянулись шпалеры лозы.

С этими дорогами связаны воспоминания о светлом, изумляющем пробуждении, которое одновременно и наполняло нас робостью и веселило. Возникало впечатление, будто из глубины жизни мы выныриваем на её поверхность. Словно толчком вытряхивая нас из сна, в темноту нашего опьянения внезапно попадало какое-нибудь изображение — это мог быть бараний рог, насаженный на высокую жердь, какую крестьянин втыкает в землю своего сада, или филин с жёлтыми глазами, сидящий на коньке амбара, или метеор, с шелестом промелькнувший по небосводу. Но мы всякий раз замирали как окаменелые, и кровь нашу леденил внезапный озноб. Тогда

казалось, что нам передавалось умение по-новому взглянуть на свой край, мы словно бы обретали глаза, способные разглядеть глубоко под стеклянной землёй светящиеся жилы золота и кристаллов. И тогда, случалось, подступали они, похожие на серые тени, исконные духи края, поселившиеся здесь давным-давно, ещё до того, как зазвенели колокола монастырской церкви и плуг провёл первую борозду. Они приближались к нам нерешительно, с грубыми деревянными лицами, выражение которых непостижимым образом было и весёлым, и страшным; и мы взирали на них с одновременно испуганным и глубоко тронутым сердцем, в краю виноградной лозы. Иногда нам казалось, будто они хотят заговорить, но вскоре они исчезали как дым.

Потом мы молча преодолевали короткую дорогу к Рутовому скиту. Когда в библиотеке зажигался свет, мы глядели друг на друга, и я замечал в лице брата Ото возвышенное, лучащееся сияние. По этому зеркалу я понимал, что случившаяся встреча не была обманом. Не проронив ни слова, мы обменивались

рукопожатием, и я поднимался в кабинет с гербариями. В дальнейшем речь об этом никогда между нами больше не заходила.

Наверху я ещё долго сидел у открытого окна в очень радостном расположении духа и чувствовал сердцем, как золотыми нитями с веретена разматывается материя жизни. Потом над Альта Плана вставало солнце, и страна ярко высветлялась до самых границ Бургундии. Крутые утёсы и глетчеры сияли белым и красным цветом, а в зелёном зеркале Лагуны проступали подрагивая высокие берега.

На остром фронте теперь начинали день домашние краснохвосты и принимались кормить свой второй выводок, птенцы голодно попискивали, как будто кто-то точил крошечные ножи. Из поясов камыша на озере взлетали цепочки уток, а в садах зяблики и щеглы склёвывали с лоз последние виноградины. Потом я слышал, как открываются двери библиотеки, и в сад, чтобы взглянуть на лилии, выходил брат Ото.

2

А вот весной мы устраивали карнавальные попойки, как заведено в тех местах. Мы облачались в пёстрые шутовские наряды, бахромчатая ткань которых светилась как птичьи перья, и надевали твёрдые маски с клювом. Потом, дурашливо прыгая и размахивая руками, как крыльями, мы спускались в городок, на старой Рыночной площади которого уже было возведено высокое масленичное дерево. Там при свете факелов устраивалось карнавальное шествие; мужчины наряжались птицами, а женщины были одеты в великолепные платья минувших столетий. Высокими,

подражающими бою часов голосами они кричали нам всякие шутки, а мы отвечали им пронзительным криком птиц.

Из таверн и винных погребков нас уже манили марши пернатых гильдий — тонкие, пронзительные флейты Щеглов, жужжащие цитры Сычей, трубные контрабасы Глухарей и пищащие ручные органы, звуками которых сопровождает свои пародирующие стихи стая Удодов. Мы с братом Ото присоединялись к Чёрным дятлам и, выбивая марш поварёшками по деревянному чану, высказывали глупые советы и мнения. Здесь приходилось пить осторожно, поскольку вино из стаканов нам нужно было соломинкой тянуть через ноздри клюва. Когда голова начинала гудеть от выпитого, нас освежала прогулка по садам и рвам кольцевого вала, мы роем влетали на танцевальные площадки или в садовой беседке какого-нибудь хозяина сбрасывали маски и в обществе случайной милашки лакомились прямо из жаровен блюдом улиток, приготовленных по бургундскому рецепту.

До самого рассвета в эти ночи повсюду раздавался пронзительный птичий крик — в тёмных переулках и на Большой Лагуне, в каштановых рощах и виноградниках, с украшенных лампами гондол на тёмной поверхности озера и даже между высокими кипарисами кладбищ. И всегда, словно отвечая на него эхом, тут же слышался испуганный, убегающий возглас. Женщины этого края красивы и полны жертвенной силы, которую Старый Запальщик¹ называет дарящей добродетелью.

Ведь не страдания этой жизни, а задор и щедрое её изобилие, когда мы вспоминаем о них, вызывают у нас почти слёзы. Эта игра голосов до сих пор отчётливо слышится мне как живая, и прежде всего сдерживаемый возглас, с каким меня на валу встретила Лауретта. Хотя стан её скрывал белый, обшитый по краям золотом кринолин, а лицо — перламутровая маска, я в темноте аллеи тотчас же узнал её по манере сгибать при ходьбе бедро

1 Ницше. — Здесь и далее примеч. перев.

и коварно затаился за деревом. Потом я напугал её смехом дятла и кинулся преследовать, размахивая широкими чёрными рукавами. Наверху, где на винограднике стоит римский камень, я настиг утомившуюся бегунью и, трепеща, обнял её рукой, склонив над её лицом огненно-красную маску. Когда, словно во сне очарованный волшебной силой, я ощутил её в своих объятиях, меня охватило сочувствие, и я с улыбкой сдвинул птичью маску на лоб.

Тут она тоже заулыбалась и очень нежно прикрыла мой рот ладонью — так нежно, что в тишине я слышал только дыхание, веявшее сквозь её пальцы.

3

Но обычно мы день за днём проводили в нашем Рутовом скиту в исключительной воздержанности. Скит располагался на краю мраморных утёсов, посреди одного из скальных островов, которые там и тут, насколько хватало глазу, перемежают лозовый край. Сам сад был бережно устроен в узких пластах горной породы, и по краям его неплотно возведённых стен селились дикие травы, какие разрастаются на тучной земле виноградников. В раннюю пору года здесь цвела синяя жемчужная гроздь мускатного гиацинта, а осенью своими светящимися, как красные лампионы,

плодами нас радовала еврейская вишня. И во все времена дом и сад обрамляли серебристо-зелёные рутовые кусты, от которых при высоком положении солнца исходили вьющиеся клубы пьянящего аромата.

В полдень, когда от сильного зноя грозди буквально вскипали, в скиту сохранялась освежающая прохлада, и не только потому, что полы его были по южному обычаю выложены мозаиками, но и потому, что некоторые помещения вдавались в скалу. Впрочем, в это время я любил, растянувшись, лежать на террасе и в полусне слушать стеклянное пение цикад. Тогда в сад запархивали парусники и вились у похожих на блюдце цветов дикой моркови, а на горячих камнях наслаждались солнцем жемчужные ящерицы. И наконец, когда белый песок Змеиной тропы накалялся в невыносимом пекле, на неё медленно выползали ланцетные гадюки, и вскоре она покрывалась ими как фриз иероглифами.

Мы не испытывали никакого страха перед этими животными, которые во множестве обитали в расселинах и трещинах Рутового

скита; скорее, они радовали нас: днём своим красочным блеском, а ночью — тонким и звонким свистом, которым сопровождались их любовные игры. Часто мы, слегка подобрав полы одежды, переступали через них, а если ждали гостей, которые их боялись, ногой отбрасывали змей с дороги. Но мы всегда шли с нашими посетителями по Змеиной тропе рука об руку; и я часто замечал, что им, казалось, передавалось то чувство свободы и танцевальной уверенности, которое охватывало нас на этой стезе.

Пожалуй, многое способствовало такому свойскому обхождению с этими змеями, но всё же без Лампузы, нашей кухарки, мы едва ли узнали бы что-то об их привычках. Во всё продолжение лета Лампуза каждый вечер выставляла им перед скальной кухней серебряную мисочку с молоком; потом неведомым зовом манила к себе животных. Тогда в последних лучах заходящего солнца можно было увидеть в саду, как повсюду сверкали золотые изгибы: по чёрной земле лилейных клумб, по серебристо-зелёным рутовым

подушкам и высоко в кустах лещины и бузины. Потом змеи, образовав знак горящего огненного венка, располагались вокруг мисочки и принимали дар.

Совершая это пожертвование, Лампуза уже с первых дней держала на руках маленького Эрио, который своим голоском вторил её призыву. Но как же я удивился, когда однажды вечером увидел, как едва научившийся ходить мальчуган тащил мисочку на открытый воздух. Там он постучал о её край ложкой из грушевого дерева, и красные змеи, сверкая, выползли из расселин мраморных утёсов. И, точно во сне наяву, я услышал смех маленького Эрио, стоявшего среди них на утрамбованной глине кухонного дворика. Привстав на хвост, животные окружили его и мерно, как маятник, быстро раскачивали у него над макушкой тяжёлыми треугольными головами. Я стоял на балконе, не смея окликнуть моего Эрио, как не решаешься позвать человека, в сомнамбулическом сне идущего по крутому коньку крыши. Но тут я увидел перед скальной кухней старую женщину — Лампузу,

она стояла там со скрещенными руками и улыбалась. При виде её меня охватило чувство полной уверенности в благополучном исходе этой страшной опасности.

С того вечера Эрио стал сам звонить для нас в колокольчик вечерни. Заслышав позвякивание мисочки, мы откладывали работу, чтобы порадоваться зрелищу его дарения. Брат Ото спешил из библиотеки, а я из гербария на внутренний балкон, Лампуза тоже отрывалась от плиты и, выйдя во двор, с гордо-нежным выражением лица слушала ребёнка. Для нас стало обыкновением любоваться усердием, с каким он наводил порядок среди животных. Вскоре Эрио уже каждого мог называть по имени и, ещё нетвёрдо ступая, расхаживал в окружении их в синей бархатной курточке с золотой оторочкой. Он также следил за тем, чтобы молока доставалось всем, расчищая пространство возле мисочки для опоздавших. Для этого он деревянной ложкой постукивал по голове ту или иную из пьющих, или, если она не спешила освободить место, хватал её за шиворот и изо всей силы выдёргивал

прочь. Но как бы грубо он ни обращался с ними, животные всегда и во всём подчинялись ему, оставаясь ручными даже во время линьки, когда они крайне чувствительны. В этот период, например, пастухи не позволяют своей скотине пастись на лугу у мраморных утёсов, ибо одного нацеленного укуса достаточно, чтобы миглом лишить силы даже самого могучего быка.

Особенно Эрио любил самую большую и красивую змею, которую мы с братом Ото звали Грайфин и которая, как мы заключили из легенд виноградарей, жила в расселинах испокон веку. Тело ланцетной гадюки металлически-красное, и нередко в его узор вкраплены отливающие светлой латунию чешуйки. А вот у этой Грайфин чётко вырисовывался чистый и безупречный золотой блеск, переходящий на голове в зелень и усиливающийся до светимости, словно у драгоценного изделия. В гневе она, бывало, раздувала шею в щиток, как золотое зеркало сверкавший в атаке. Казалось, остальные выказывали ей уважение, ибо никто не притрагивался к мисочке до тех

пор, пока Золотая не утолит жажду. Позднее мы увидели, как Эрио играл с нею, а она, как то иногда делают кошки, острой головой тёрлась о его курточку.

После этого Лампуза накрывала нам ужин: два бокала простого вина и два ломтя чёрного, солёного хлеба.

4

С террасы в библиотеку вела стеклянная дверь. В погожие утренние часы эта дверь была широко распахнута, так что брат Ото сидел за большим столом, словно в уголке сада. Я постоянно с удовольствием заходил в эту комнату, на потолке которой играли зелёные тени листвы и в тишину которой проникало щебетание молодых птиц да близкое жужжание пчёл.

На мольберте у окна стоял большой планшет, а вдоль стен до самого потолка громоздились ряды книг. Самый нижний из них стоял на широкой клети, приспособленной для

фолиантов — для огромных «Hortus Plantarum Mundi»¹ и расписанных от руки произведений, каких больше уже не печатают. Над ними выступали стеллажи для папок и книг, которые ещё можно было с усилием раздвинуть, — заваленные бумагами с короткими заметками и пожелтевшими листьями гербариев. Их тёмные полки занимали собрания запрессовавшихся в камне растений, которые мы выискивали в известковых и угольных карьерах, между ними разнообразные кристаллы, какие выставляют обычно как украшение или, ведя серьёзный разговор, взвешивают в руках. Ещё выше располагались небольшие книги — не очень обширное ботаническое собрание, однако полное в вопросах того, что касалось лилий. Эта часть книгохранилища разделялась ещё на побочные линии — на труды, которые были посвящены форме, цвету и запаху.

Ряды книг продолжались ещё в маленьких залах и были снабжены лестницами, ведущими наверх, до самого гербария. Здесь стояли

1 «Мир ботанических садов» (лат.).

отцы церкви и классические авторы древних и новых эпох, и главным образом собрание словарей и энциклопедий всякого рода. По вечерам мы с братом Ото сходились в маленьком зале, в камине которого мерцало пламя сухих виноградных черенков. Если дневные труды удавались на славу, мы имели обыкновение предаваться беседам того неторопливого вольного свойства, когда выбираются проторенные пути и известные даты и авторитеты. Мы балагурили о мелочах знания либо острили по поводу странных либо превратившихся в абсурдность цитат. Во время этих игр нам очень помогали легионы безмолвных, переплетённых в кожу или пергамент рабов.

Чаще всего я рано поднимался в гербарий и засиживался там за работой до поздней ночи. Сразу после нашего переезда сюда мы велели обшить пол хорошей древесиной и установить на нём длинные ряды шкафов. В их ящичках скопились тысячи пучков гербарных листьев. Лишь очень малую часть их собрали мы, они были собраны преимущественно чьей-то давным-давно истлевшей

рукой. Иногда, в поисках какого-нибудь растения, я ненароком наталкивался на побуревший от времени лист бумаги, с собственноручной выцветшей подписью великого мастера Линнея. В эти ночные и утренние часы я вёл и приумножал перечни на множестве ярлыков — сперва обширный каталог наименований коллекции, а потом «Малую Флору», в которую мы скрупулёзно вносили все находки в районе Лагуны. На следующий день брат Ото, руководствуясь книгами, просматривал листки, и многие из них затем обозначались им и раскрашивались. Так разрастался труд, который уже своим возникновением доставлял нам большое наслаждение.

Когда мы довольны, нашим чувствам хватает даже самых скромных даров этого мира. Я издавна отдавал предпочтение царству растений и многие годы странствий исследовал его чудеса. И мне было хорошо знакомо то мгновение, когда с замиранием сердца мы предугадываем в развитии тайны, какие таит в себе каждое хлебное зёрнышко. Тем не менее великолепие роста мне никогда не было

ближе, чем на этой почве, которую пронизывал запах давным-давно увядшей зелени.

Прежде чем отойти ко сну, я ещё немного прогуливался взад и вперёд по его узкой средней дорожке. В эти полуночные часы я часто думал, что увижу растения светлее и великолепнее, чем в иное время. Я уже изда- лека чувствовал аромат украшенных белыми звездочками терновниковых долин, кото- рый я вдыхал ранней весной в Arabia Deserta¹, и тонкий аромат ванили, который в зной ос- вежает странника при отсутствии спаситель- ной тени канделябровых лесов². Тогда снова, точно страницы какой-то старинной книги, распахивались воспоминания о часах изуми- тельного изобилия — о тёплых топях, в кото- рых цветёт *Victoria regia*³, и о рощах у моря, которые видишь в полдень тускло мерцающи- ми вдали от заросших пальмами побережий.

1 Arabia Deserta — пустынная северная часть Аравийского полу- острова.

2 *Euphorbia candelabrum*.

3 Виктория царственная — плавающее растение семейства кув- шинковых.

Но у меня отсутствовал страх, который охватывает нас, когда мы сталкиваемся с неумеренностью роста, словно с каким-то идолом, который манит тысячью рук. Я чувствовал, как одновременно с нашими исследованиями возрастают силы для того, чтобы стойко выдерживать жгучие влияния жизни и усмирять их так, как под уздцы ведут рысаков.

Часто уже начинало светать, когда я только вытягивался на узкой походной кровати, установленной в гербарии.

5

Кухня Лампузы вдавалась в мраморную скалу. В древние времена такие пещеры давали пастухам кров и защиту, а позднее, подобно циклопическим кладовым, пристраивались надворными строениями. Чуть свет, когда она варила утренний супчик для Эрио, старуху видели у очага. К помещению с плитой примыкали ещё уходящие вглубь своды, в которых стоял запах молока, фруктов и вытекавших каплями вин. Я весьма редко входил в эту часть Рутового скита, поскольку близость Лампузы будила во мне стеснённое чувство, которого я предпочитал избегать. Зато для Эрио здесь был знаком каждый закуток.

А вот брата Ото я часто видел стоящим у огня рядом со старухой. Ему, пожалуй, я и был обязан счастьем, выпавшим на мою долю с Эрио, внебрачным ребёнком от Сильвии, дочери Лампузы. В ту пору мы несли службу в походе с Пурпурными всадниками, которая ценилась у свободных народов Альта Планы и которая затем закончилась поражением. Отправляясь верхом к горным перевалам, мы часто видели Лампузу, стоящую перед своей хижиной, и рядом с ней статную Сильвию в красной косынке и красной юбке. Брат Ото был рядом со мной в тот день, когда я поднял из пыли гвоздику, которую Сильвия вынула из волос и бросила на дорогу, и в дальнейшей скачке предостерегал меня от старой и молодой ведьмы — шутливо, однако озабоченным тоном. Ещё больше раздражал меня смех, с которым Лампуза рассматривала меня и который я ощущал бесстыдно сводническим. И всё-таки я вскоре наведался в их хижину.

Воротившись в Лагуну после того прощания и въехав в Рутовый скит, мы узнали о рождении ребёнка, а также о том, что Сильвия

оставила его и ушла из этих мест с чужим народом. Известие подняло во мне волну горечи — прежде всего потому, что оно застало меня в начале того периода, который после бедствий кампании я предполагал посвятить спокойным исследованиям.

Поэтому я предоставил брату Ото полномочия навестить Лампузу, чтобы поговорить с нею и поступить так, как он сочтёт целесообразным. Как же я был изумлён, однако, когда узнал, что он немедленно забрал ребёнка и её в наш дом и приставил старуху к хозяйству; но этот шаг очень скоро оказался для всех нас благословенным. И как правильность поступка узнаётся, в частности, по тому, что в нём замыкается также минувшее, так и любовь Сильвии ко мне высветилась в новом свете. Я понял, что с предубеждением рассматривал её саму и её мать и что я, ибо легко получил её, слишком легкомысленно обошёлся с нею, как принимают за стекло драгоценный камень, открыто лежащий на дороге. И тем не менее всё бесценное достаётся нам только случайно, лучшее — даром.

Конечно, требовалось привести дела в порядок с той непринуждённостью, которая была свойственна брату Ото. Его принцип заключался в том, чтобы обращаться с людьми, которые становились близки нам, как с редкими находками, обнаруженными в странствии. Он охотно называл людей оптиматами¹, чтобы дать понять, что всех можно причислить к врождённой аристократии этого мира и что каждый из них может подарить нам самое высокое. Он воспринимал их сосудами чудесного и признавал за ними, в качестве высоких творений, княжеские права. И я действительно видел, что все, кто приближался к нему, распускались точно растения, пробуждающиеся от зимней спячки, — не то чтобы они становились лучше, но они в большей мере становились самими собой.

Сразу же после своего вселения Лампуза занялась хозяйством. Работа легко спорилась

¹ Оптиматы — идейно-политическое течение в Римской республике (кон. II – I вв. до Р. Хр.), отражавшее интересы нобилитета и противостоящее популярам.

у неё, в саду руки её тоже не оставались без дела. В то время как мы с братом Ото сажали растения строго по правилам, она зарывала семена наспех, позволяя разрастаться сорнякам, как тем вздумается. И всё же она без труда снимала тройной урожай с наших посевов и плодовых деревьев. Я часто видел, как она, насмешливо улыбаясь, разглядывала овальные фарфоровые таблички на наших грядках, где значились сорт и вид, надписанные братом Ото тонким каллиграфическим почерком. При этом она обнажала большой резец, похожий на клык, последний из оставшихся ещё у неё зубов.

Хотя по примеру Эрио я называл её бабушкой, она обращалась ко мне лишь по вопросам хозяйства, и часто воистину глупым, как то случается с экономками. Имя Сильвии никогда нами не упоминалось. Несмотря на это, я с досадой увидел, что Лауретта следующим вечером после той ночи на валу навестила меня. Но именно сейчас старуха прибравшись особенно тщательно и спешно подала к приёму гости вина, сыру и сладких пирогов.

По отношению к Эрио я испытывал естественное наслаждение отцовства, равно как и наслаждение духовным усыновлением. Нам нравился его спокойный, внимательный разум. Как все дети обычно подражают делам, которые замечают в своём маленьком мире, так и он рано обратился к растениям. Мы часто видели его долго сидящим на террасе в созерцании лилии, готовой вот-вот распуститься, и когда та открывалась, он мчался в библиотеку, чтобы обрадовать брата Ото известием. Точно так же он рано утром с удовольствием стоял перед мраморным бассейном, где мы выращивали кувшинки из Ципанго¹, околоцветники которых первый луч солнца вскрывает с нежным звуком. В помещении гербария я тоже установил для него маленький стульчик — он часто сиживал на нём, наблюдая за моей работой. Ощушая его тихое присутствие рядом с собой, я чувствовал прилив энергии, как будто благодаря глу-

1 Или: Сипанго, Zipangu — средневековое название легендарного острова на востоке Азии, описанного Марко Поло.

бокому, ясному пламени жизни, горевшему в маленьком теле, вещи представляли в новом свете. У меня возникало ощущение, будто животные ищут его близости, ибо я всегда видел, столкнувшись с ним в саду, что вокруг него летают красные жуки, называемые в народе петушками Фрии¹; они бегали у него по рукам и играли в его волосах. Очень странным было также то, что на призыв Лампузы ланцетные гадюки окружали мисочку раскалённым клубком, тогда как у Эрио они образовывали фигуру лучевого диска. Первым на это обратил внимание брат Ото.

Вот так получилось, что наша жизнь стала отличаться от планов, которые мы разрабатывали. Вскоре мы заметили, что это отличие пошло на пользу нашей работе.

1 Frigg или Frija — *герм. миф.* Фрия, Фриг — богиня неба, жена Одина.

6

Мы обосновались здесь, планируя фундаментальным образом заниматься растениеводством, и поэтому начали с издавна зарекомендовавшего себя упорядочивания духа благодаря дыханию и питанию. Как все вещи на этой Земле, растения тоже хотят что-то сказать нам, но нужно ясное сознание, чтобы понять их язык. Хотя в их прорастании, цветении и угасании кроется иллюзия, которой не избежит ничто сотворённое, следует всё же очень хорошо прочувствовать то, что неизменно заключено в ларце внешнего облика. Искусство умения так заострять свой взгляд

брат Ото называл «отсасыванием времени» — даже если он имел в виду, что абсолютная пустота по эту сторону смерти недостижима.

Втянувшись, мы заметили, что наша тема, почти против нашей воли, расширилась. Вероятно, здоровый воздух Рутового скита способствовал тому, чтобы придать нашим мыслям новое направление, как в чистом кислороде пламя горит прямее и ярче. Я заметил это уже через несколько недель по тому, как изменились предметы — и изменение я сначала воспринимал как недостаток, поскольку языка мне уже не хватало.

Однажды утром, когда я с террасы глядел на Лагуну, её вода показалась мне глубже и лучистее, как будто я впервые взглянул на неё с безмятежным чувством. В ту же секунду я почувствовал почти болезненно, что слово отделилось от внешних явлений, как лопается тетива слишком туго натянутого лука. Я увидел фрагмент радужной вуали этого мира, и с того часа язык больше не нёс для меня привычной службы. Но одновременно в меня влилось новое бодрствование. Как дети,

вышедшие наружу из внутренних помещений, начинают на свету двигаться на ощупь, так я искал слова и картины, чтобы выразить новый блеск вещей, ослепивший меня. Я никогда прежде не предполагал, что говорение может доставить такую муку, и тем не менее не хотел бы вернуться к непосредственной жизни. Когда мы воображаем, что однажды смогли б полететь, то неловкий прыжок нам дороже надёжности проторённой дороги. Этим, вероятно, и объясняется чувство головокружения, которое часто охватывает меня за этим занятием.

Легко случается, что на неизвестных стезях у нас пропадает чувство меры. Счастье ещё, что меня сопровождал брат Ото и что он осторожно продвигался со мною вперёд. Часто, когда я докапывался до сути какого-нибудь слова, я, взяв в руку перо, спешил к нему вниз, и он часто с аналогичным посланием поднимался ко мне в гербарий. Мы также любили создавать образы, которые называли моделями — мы лёгкими стопами записывали на маленьком листке три-четыре предло-

жения. В них нужно было оправить осколок всемирной мозаики, как в металл оправляют камень. В этих моделях мы также исходили из растений и потом надставляли к ним дальше. Таким образом мы описывали вещи и превращения, от песчинки до мраморного утёса и от мимолётной секунды до годового цикла. Вечером мы скалывали эти листки и, прочитав друг другу, сжигали в камине.

Вскоре мы почувствовали, как жизнь содействовала нам и как в нас вселилась новая уверенность. Слово — это одновременно король и волшебник. Мы исходили из высокого примера Линнея, который маршальским жезлом слова вступил в хаос фауны и флоры. И чудеснее всех царств, добытых мечом, продолжается власть его над лугами цветов и легионами пресмыкающихся.

По его примеру нас тоже подгоняла догадка, что в элементах царит порядок, ибо человек чувствует в глубине стремление своим слабым духом подражать творению, так же как птицу оберегает стремление к строительству гнёзд. Наши усилия потом были

очень щедро вознаграждены пониманием того, что мера и правило навечно заложены в случайность и запутанности этой Земли. Мы поднимались к тайне по тропинке, которую скрывает пыль. С каждым шагом, который мы при восхождении делаем в горах, убывает случайный узор горизонта, и когда мы поднялись достаточно высоко, повсюду, где бы мы ни стояли, нас окружает чистое кольцо, обручающее нас с вечностью.

То, что мы таким образом совершили, оставалось, пожалуй, ученической работой и чтением по складам. И всё же мы почувствовали выигрыш от веселья, как каждый, кто не желает иметь ничего общего с пошлостью. Местность вокруг лагуны утрачивала ослепительность и всё же проступала яснее, проступала *more geometrico*¹. Дни, словно за высокими крепостными стенами, протекали быстрее и энергичнее. Иногда, когда дул западный ветер, мы ощущали предчувствие наслаждения неомрачённой радостью.

1 *More geometrico* — геометрическим способом (лат.). Выражение восходит к «Этике» Спинозы. Декарт перевёл это выражение на французский язык как «*façon géométrique*».

Но прежде всего в нас немного поубавилось того страха, который пугает нас, и как туманы, поднимающиеся из болот, смущают дух. Как случилось, что мы не забросили работу, когда в нашей области к власти пришёл Старший лесничий и когда распространился ужас? Мы обрели предчувствие ясности, от блеска которого испаряются обманные образы.

7

Старший лесничий был давно известен у нас как Старый хозяин Мавритании. Мы часто видели его на конвентах и иногда ночью ужинали и бражничали с ним за игрой. Он принадлежал к тем фигурам, которые считаются у мавританцев¹ настоящими господами

- 1 «Королева змей». То, что я набросал сегодня о мавританцах, меня не удовлетворяет; в моём воображении этот орден живёт отчётливее, чем в изложении. Ярко обрисовать, как в пору упадка, когда скапливается масса затхлой материи, рационализм становится самым твёрдым принципом. Затем: если вокруг доктрины аморальной техничности образуется кружок, то благодаря её злокачественности к нему примыкают туземные силы, чтобы с новыми усилиями вернуть себе прежнюю власть, тоска по которой всегда ведь живёт на дне их сердец. Таким образом, в России просвечивается старое царство. Таков и Старший лесничий;

и одновременно воспринимаются немного скептически — как, например, воспринимают в полку какого-нибудь старого полковника кавалерийского ополчения, который время от времени наведывается туда из своих имений. Он запоминался уже тем, что привлекал к себе внимание своим зелёным фраком, украшенным вышитыми золотом листьями падуба.

Он был несметно богат, и на праздниках, устраиваемых им в его городском доме,

в такого рода фигурах нигилизм находит своего хозяина. Впрочем, в отношении Петра Степановича к Ставрогину ситуация кажется перевернутой: технарь пытается объединиться с автохтоном, ощущая у себя недостаток легитимной силы.

Хотя при описании таких планов лучше всего целиком положиться на продуктивную фантазию, делу совсем не повредит, если детально проработать их конструкцию. Следует, однако, избегать того, чтобы рассказ приобретал чисто аллегорический характер. Он должен, совершенно вне временной соотнесённости, уметь жить из собственной сути, и даже хорошо, если останутся тёмные места, которые порой не под силу объяснить даже самому автору, именно они, как я со временем понял, являются зачастую залогом позднейшего плодородия. Так, характер Старшего лесничего, когда он привиделся мне одной из ненастных ночей в Гарце, представлялся мне ещё тёмным; а уже сегодня я вижу, что те черты, которые я в нём отметил тогда, в расширенных рамках приобретают осмысленность». (Излучения: «Сады и дороги», Кирххорст, 5 апреля 1939 г.)

царило изобилие. Там по старому обычаю плотно ели и крепко пили, и дубовая поверхность большого ломберного стола прогибалась под грузом золота. Были также известны азиатские вечеринки, которые он устраивал для своих адептов на своих маленьких вилах. Мне часто представлялся удобный случай видеть его вблизи, и его овевало дыхание старой власти, исходившее из его лесов. И в ту пору мне почти не мешала застылость его существа, поскольку во всех мавританцах со временем появлялось что-то автоматическое. Оно проступает, прежде всего, во взоре. Так и в глазах Старшего лесничего, особенно когда он смеялся, мерцал проблеск пугающей приветливости. На них, как на лицах старых пьяниц, лежал красный налёт, но одновременно выражение коварства и непоколебимой силы — иногда даже суверенитета. В ту пору близость его была нам приятна — мы жили в задоре, пируя за столами владык сего мира.

Позднее я слышал, как брат Ото, вспоминая наши мавританские времена, говорил,

что заблуждение только тогда превращается в изъясн, когда в нём упорствуют. Высказывание показалось мне тем более верным, что я подумал о положении, в котором мы оказались, когда этот орден привлёк нас к себе. Существуют эпохи упадка, когда стирается форма, определяющая жизнь изнутри. Оказываясь в них, мы шатаемся туда-сюда, как люди, потерявшие равновесие. От смутных радостей нас бросает в смутную боль, и сознание утраты, которое постоянно оживляет нас, заманчивее отражает нам будущее и прошлое. Мы живём в ушедших временах либо в дальних утопиях, а настоящее между тем расплывается.

Едва заметив этот недостаток, мы постарались избавиться от него. Мы чувствовали тоску по участию, по действительности и проникли бы в лёд, огонь и эфир, чтобы избежать скуки. Как всегда, когда сомнение соединяется с преизбытком, мы обратились к силе — а не является ли она тем вечным маятником, который продвигает стрелки вперёд, будь то днём или ночью? Итак, мы начали мечтать

о власти и силовом превосходстве, и о тех формах, которые, смело организованные, движутся друг на друга в смертельном бою жизни, будь то к гибели, будь то к триумфу. И мы с радостью изучали их, как рассматривают травления, оставленные кислотой на тёмных зеркалах отполированных металлов. При такой склонности было неизбежно, что мавританцы заинтересовались нами. Мы были введены *Capitano*, который подавил крупный мятеж в Иберийских провинциях.

Тому, кто знает историю тайных орденов, известно, что оценить их размер весьма затруднительно. Известна также та продуктивность, с какой они образуют ответвления и колонии, так что, если следовать по их следам, скоро теряешься в лабиринте. Это касалось и мавританцев. Особенно странным было для новичка, когда в их помещениях он видел, как члены групп, смертельно ненавидящих друг друга, мирно беседуют. К интеллектуальным целям относилась виртуозная разработка дел этого мира. Они требовали, чтобы властью пользовались совершенно

беспристрастно, богоподобно, и соответствующим образом их школы распространяли категорию ясных, свободных и всегда ужасных умов. Независимо от того, действовали ли они в спокойных или взбаламученных районах, — там, где они побеждали, они побеждали как мавританцы, и гордое «Semper victrix»¹ этого ордена считалось доктриной не членами его, но главой. Посреди времени и его бешеных скачков он стоял непоколебимо, и в его резиденциях и дворцах под ногами ощущалась твёрдая почва.

Но то, что заставляло нас охотно пребывать там, не было наслаждением покоя. Когда человек теряет опору, им начинает управлять страх, и в его вихрях он двигается вслепую. Однако у мавританцев, как в центре циклона, царила абсолютная тишина. Когда падают в пропасть, должно быть, видят вещи предельно ясно, словно через увеличительные очки. Этого взгляда, только без страха, достигаешь в воздухе Мавритании, который был исклю-

1 «Всегда одерживающий победу» (лат.).

чительно злобным. Именно когда господствовал ужас, возрастала холодность мысли и духовная дистанция. Во время катастроф царило хорошее настроение, и о них имели обыкновение шутить, как арендаторы казино шутят о проигрышах своих клиентов.

В ту пору мне стало ясно, что паника, тени которой всегда лежат на наших больших городах, обладает своей противоположностью в смелом задоре тех немногих, кто, подобно орлам, кружит высоко над тупым страданием. Однажды, когда мы выпивали с Capitano, он посмотрел на поднимающиеся в кубке пузырьки, словно это раскрывались минувшие времена, и задумчиво произнёс: «Никакой бокал шампанского не был слаще того, который мы подняли на машинах в ночь, когда дотла сожгли Сагунт». И мы подумали: «Лучше рухнуть вместе с этим, чем жить с теми, кого страх заставляет ползать во прахе».

Впрочем, я отклонился от темы. У мавританцев можно было научиться играм, ещё радующим дух, который ничего больше не связывает и который устал даже от иро-

нии. Мир у них расплавился, превратившись в краплёную карту, какую прокалывают для любителей маленьким циркулем и гладкими инструментами, которых касаешься с удовольствием. Поэтому казалось странным, что в этом светлом, бестеневом и самом абстрактном из пространств ты натыкаешься на фигуры вроде Старшего лесничего. Тем не менее, когда свободный дух учреждает себе резиденции господства, автохтоны всегда присоединяются к нему, как змея ползёт к открытому пламени. Они являются старыми знатоками власти и видят, что настал новый час снова установить тиранию, которая изначально живёт в их сердце. Тогда в большом ордене возникают тайные ходы и сводчатые подвалы, о местоположении которых не догадывается никакой историк. Тогда возникают также самые изощрённые схватки, вспыхивающие внутри власти, схватки между изображениями и мыслями, схватки между идолами и духом.

В таких распрях не один, должно быть, уже узнал, откуда происходит коварство Земли.

То же случилось и со мной, когда в поисках пропавшего Фортунио я проник в охотничьи угодья Старшего лесничего. С тех дней я знал границы, отведённые высокомерию, и избегал переступать тёмную опушку бора, который старик любил называть своим «Тевтобургским Лесом», ибо он вообще был мастером в напускном, лицемерном простодушии.

8

В поисках Фортунио я достиг северной окраины этих лесов, тогда как наш Рутовый скит располагался недалеко от их южной точки, которая соприкасалась с Бургундией. Вернувшись обратно, мы обнаружили в Лагуне лишь тень старого порядка. До сих пор она чуть ли не со времён Карла¹ управлялась почти неизменно, ибо чужие владыки приходили и уходили, а народ, который выращивал там лозу, всегда сохранял обычаи и закон. Богатство и плодородие почвы тоже заставляли любое

1 Вероятно, Карл VIII (XV в.).

правление скоро обращаться к мягкости, как бы жестоко всё ни начиналось. Так красота воздействует на власть.

Но война под Альта Планой, которую вели, словно сражались с турками, оставила более глубокую зарубку. Она свирепствовала подобно морозу, который разрушает сердцевину деревьев и воздействие которого часто становится видным лишь через много лет. Сперва жизнь в Лагуне продолжалась своим чередом; она была прежней, и в то же время уже не совсем. Иногда, стоя на террасе и глядя на цветочный венок садов, мы ощущали дыхание скрытой усталости и анархии. И именно тогда красота этого края трогала нас до боли. Так перед самым заходом солнца ещё сильнее вспыхивают краски жизни.

В эти первые времена мы почти не слышали о Старшем лесничем. Но было странно, что он приближался в той мере, в какой усиливалась расслабленность и исчезала реальность. Обычно вначале циркулировали лишь тёмные слухи, словно об эпидемии, бушующей в дальних гаванях. Затем распростра-

лись сообщения о близких злоупотреблениях властью и актах насилия, переходящие из уст в уста, и наконец такие действия происходили совершенно неприкрыто и очевидно. Как плотный туман в горах предвещает непогоду, так облако страха предшествовало Старшему лесничему. Страх окутывал его, и я уверен, что его силу следовало скорее искать в этом облаке страха, нежели в нём самом. Он мог действовать только в том случае, если вещи сами по себе начинали расшатываться, — но уж тогда сказывалось то, что его леса располагались очень удобно для нападения на страну.

Взобравшись на вершину мраморного утёса, можно было обозреть всю область, в которой он добился могущества. Чтобы попасть на зубец, мы обычно использовали узкую лестницу, вырубленную в скале рядом с кухней Лампузы. Ступени были промыты дождями и вели на выдвинутую площадку, с которой открывался широкий вид на окрестности. Здесь мы проводили не один солнечный час, когда утёсы сияли пёстрыми огнями, ибо там, где

ослепительно белую скалу прогрызали инфильтрационные воды, в ней были вкраплены красные и белесоватые следы. Могучими портьерами опадала с неё тёмная листва плюща, и во влажных трещинах мерцали серебристые листья лунника.

Во время подъёма нога задевала красные усики ежевики и вспугивала жемчужных ящериц, которые ярко-зелёными струйками убегали на зубцы. Там, где обрывался густой, усеянный голубыми звёздочками горечавки газон, в скале, в пещерах которой, грезя, жмурились сычи, виднелись обрамлённые кристаллами друзы. Там гнездились также быстрые красно-бурые соколы; мы проходили так близко от их птенцов, что видели ноздри их клюва, которые подобно голубому воску покрывала тонкая кожа.

Здесь на зубце воздух был свежее, чем внизу, в котловине, где в знойном мареве дрожали лозы. Иногда жара выдавливала вверх ветровой поток, который мелодично, как в органных трубах, завывал в трещинах

и приносил с собой лёгкий запах роз, миндаля и мелиссы. Со своей скальной верхушки мы теперь видели глубоко под собою крышу Рутового скита. На юге, по ту сторону Лагуны, под защитой пояса глетчеров возвышался вольный горный край Альта Планы. Его вершины были окутаны дымкой испарений, поднимающихся от воды, потом воздух снова становился настолько прозрачным, что мы различали древесину кедров, которые там довольно высоко выросли в скатную осыпь. В такие дни мы ощущали фён и на ночь гасили в доме всякий огонь.

Нередко наш взгляд задерживался и на островах Лагуны, которые в шутку мы называли Гесперидами и на берегах которых темнели кипарисы. В суровую зиму на них не знали ни мороза, ни снега, инжир и апельсины зрели на открытом воздухе, а розы цвели круглый год. Ко времени зацветания миндаля и абрикоса народ охотно перебирается в лодках на другой берег лагуны; тогда они плывут по синим водам как светлые лепестки.

Осенью же наоборот мы грузимся на суда, чтобы отведать там петровой рыбы¹, которая некоторыми ночами в полнолуние с большой глубины поднимается к поверхности и обильно наполняет сети. Рыбаки обычно ловят её молча, потому что считают, что даже едва слышное слово её пугает, а ругательство портит улов. Эти поездки на петрову рыбу всегда проходили весело; мы запасались вином и хлебом, поскольку на островах лоза не растёт. Осенью там нет холодных ночей, когда роса опадает на грозди и таким образом их пламя благодаря предчувствию гибели выигрывает в содержании спирта.

В дни таких праздников достаточно взглянуть на Лагуну, чтобы догадаться о том, что значит жизнь. Ранним утром здесь вверх пробивается обилие разнообразных звуков — очень тонко и отчётливо, как видишь вещи в перевёрнутый бинокль. Мы слышали колокола в городах и лёгкие мортиры, которые салютовали в гавани украшенным гирляндами

1 Имеется в виду: солнечник обыкновенный (*Zeus faber*).

из цветов и листьев кораблям, потом опять песнопения благочестивых толп, которые влачили к чудотворным иконам, и звук флейт, сопровождавший свадебное шествие. Мы слышали гомон галок около флюгеров, пение петуха, зов кукушки, звучание рожков, как трубят в них молодые охотники, отправляясь на охоту на цаплю из ворот замка. Так чудесно звуки доносились наверх, так карнавально, как будто бы мир был сшит из лоскутов плутовского наряда, — но и хмельно как вино с утра пораньше.

Глубоко внизу лагуну обрамлял венок маленьких городков со стенами и стенными башнями римских времён, городки выделялись древними седыми соборами и замками эпохи Меровингов. Между ними лежали зажиточные крестьянские хутора, над кровлями которых кружили стаи голубей, и поросшие зелёным мхом мельницы, к которым осенью семенили ослики с мешками зерна на помол. Потом снова крепости, угнездившиеся на высоких скальных вершинах, и монастыри, вокруг тёмного кольца стен которых в

прудах для разведения карпов, как в зеркалах, отражался свет.

Когда с высоты позиции мы глядели на эти местечки, как человек оборудует их для защиты, для удовольствия, для питания и молитвы, то эпохи перед нашим взором основательно перемешивались. И словно из открытых гробов, незримо выступали покойники. Они всегда близки нам там, где наш взор, полный глубокой любви, останавливается на издревле застроенном крае, и как в камне и бороздах пашни живёт их наследие, так их верный дух предков царит в поле и ниве.

За спиной у нас, с севера, примыкала Кампанья; она словно валом отграничивалась от Лагуны мраморными утёсами. Весной этот луговой пояс раскатывался как высокий цветочный ковёр, на котором медленно, словно плывя в пёстрой пене, паслись стада крупного рогатого скота. В полдень они отдыхали в болотисто-прохладной тени ольх и осин, образовывавших на просторной равнине листовенные острова, с которых часто поднимался дым пастушьих костров. Там видны были

широко рассеянные большие хутора с хлевом, амбаром и высокими журавлями колодцев, снабжавших водой водопои.

Летом здесь было очень жарко и душно, а осенью, во время спаривания змей, эта полоса была, как полупустыня, одинока и выжжена. На своём противоположном крае она переходила в болотистую местность, в зарослях которой уже не чувствовалось никаких признаков заселения. Лишь хижины из грубого камыша, какие возводятся для охоты на уток, там и сям возвышались на берегу тёмных болотных заводей, да в ольхах были, как вороньи гнёзда, сооружены потайные засады. Там уже господствовал Старший лесничий, и вскоре начинала подниматься земля, в грунте которой пустил корни высокоствольный лес. По краям его длинными серпами ещё выступали в ивовые полосы рощицы, которые в народе называли рогами.

Это было пространство, которое взгляд мог охватить вокруг мраморных утёсов. С их высоты мы видели жизнь, которая на древней почве развивалась, подобно ухоженному

винограднику, и приносила плоды. Мы видели также и его границы: горы, где у варварских народов жила высокая свобода, однако без изобилия, а на севере — болота и тёмные земли, с которых угрожает кровавая тирания.

Очень часто, стоя вместе на зубце, мы размышляли, сколько же нужно сделать, прежде чем сжать урожай зерна и выпечь хлеб, и, пожалуй, для того, чтобы дух мог уверенно двигать крыльями.

9

В хорошие времена люди едва ли обращали внимание на ссоры, которые с давних пор возникали в Кампанье, и это правильно, поскольку такое случается везде, где есть пастухи и пастбищные степи. Каждую весну вспыхивали споры о ещё не сожжённом скоте, а потом схватки за водопой, как только начиналась засуха. Также большие быки, которые носили в ноздрях кольцо и в страшных снах снились женщинам Лагуны, врывались в чужие стада и гнали их к мраморным утёсам, у подножия которых можно было увидеть выбеленные солнцем рога и рёбра.

Но прежде всего пастуший народ был дик и необуздан. Их состояние с самого начала переходило по наследству от отца к сыну, и когда они неплотным кругом сидели вокруг своих костров, с оружием в руках, как свойственно их натуре, было хорошо видно, что они отличаются от народа, выращивающего на склонах лозу. Они жили, как во времена, когда не знали ни дома, ни плуга, ни ткацкого станка и когда временное пристанище находили там, где того требовало перемещение стад. Этому соответствовали также их обычаи и грубое чувство права и справедливости, которое было целиком приноровлено к отмщению. Так, каждое убийство разжигало долгое пламя мести, и существовали родовые и семейные распри, причина которых была давно позабыта и которые тем не менее из года в год требовали кровавой дани. Поэтому происшествия в Кампанье юристы Лагуны называли обычно грубым, несуразным материалом, с которым им приходится иметь дело; они также не приглашали пастухов на форум, а посылали в их область комиссаров.

В других районах правосудие вершили арендаторы у магнатов и владельцы ленных угодий, сидевшие на больших пастбищных хуторах. Наряду с этим имелись ещё вольные пастухи, которые были очень зажиточными, как Батаки и Беловары.

В общении с суровым народом знакомились со свойственными ему положительными сторонами. К ним относилось, прежде всего, гостеприимство, с каким принимали каждого, присевшего у их костров. Нередко в кругу пастухов можно было увидеть и городские лица, ибо Кампанья предлагала первое убежище всем, кто был вынужден покинуть Лагуну. Здесь находящиеся под угрозой ареста должники и странствующие студенты, которым на пирушке удался слишком хороший удар, оказывались в обществе беглых монахов и бездомного сброда. Молодые люди, стремившиеся к свободе, и влюблённые пары, желавшие пожить кочевой жизнью, охотно отправлялись в Кампанью.

Здесь во все времена плелась сеть таинственностей, которая обтягивала границы твёр-

дого порядка. Близость Кампаньи, право в которой было менее совершенным, кое-кому, у кого дела принимали дурной оборот, казалось благоприятной. Большинство из бежавших после того, как время и хорошие друзья им посодействовали, возвращалось обратно, а другие исчезали в лесах навсегда. Но после Альта Планы, что, впрочем, относится к ходу вещей, возникла пагубная склонность. Порча часто проникает в изнурённое тело через раны, которые здоровый человек едва ли замечает.

На первые симптомы не обратили внимания. Когда из Кампаньи проникли слухи о беспорядках, казалось, что обострились старые ссоры кровной мести, однако вскоре узнали, что их омрачали новые и непривычные черты. Суть примитивной чести, смягчавшей насилие, пропала; осталось самое настоящее злодеяние. Создавалось впечатление, что из лесов в родовые союзы проникли шпионы и агенты, чтобы поставить их на службу чужим интересам. Таким образом, древние формы утратили свой смысл. Так, например, если

на скрещении дорог находили труп с расчѣнным надвое языком, издавна не вызвало сомнений, что здесь был прикончен предатель идущими по его следу мстителями. После войны тоже можно было наткнуться на мертвецов, помеченных такой меткой, но отныне каждый знал, что речь идёт о жертве чистого злодейства.

Равным образом союзы постоянно повышали дань, и землевладельцы, которые одновременно рассматривали её как своего рода премию за хорошее состояние пастбищного скота, охотно её платили. Но теперь требования невыносимо распухли, и когда арендатор видел на стойке ворот письмо вымогателя, то ему оставалось либо платить, либо покинуть край. Иной, правда, решался на сопротивление, но в таких случаях дело доходило до разграбления, которое, очевидно, осуществлялось по заранее обдуманному плану.

В таких случаях сброд, находившийся под руководством людей из лесов, имел обыкновение ночью появляться перед хуторами,

и если ему отказывали в доступе, он взламывал замки силой. Эти банды называли также «огненными червями», ибо они подкрадывались к воротам с балками, на которых рдели маленькие огоньки. Другими это название объяснялось тем, что после удачного штурма они обычно пытали людей огнём, чтобы узнать, где у них спрятано серебро. Но всегда о них слышали только самое низкое и подлое, на что человек способен. Сюда относилось и то, что они, дабы вызвать ужас, паковали трупы убитых в ящики или бочки; и такая роковая посылка потом с грузами, шедшими из Кампаньи, доставлялась родственникам домой.

Гораздо более опасным являлось то обстоятельство, что за все эти преступления, которые встревожили страну и взывали к правосудию, едва ли кто-то понёс наказание — более того, о них уже не решались говорить вслух, и стала очевидной та слабость, какую в отношении анархии проявило право. Хотя сразу после начала грабежей были посланы комиссии,

сопровожаемые подвижными дозорами, но они застали Кампанью уже в открытом бунте, так что до судебных заседаний дело не дошло. Чтобы резко повлиять на ход событий, теперь следовало бы созвать сословия для коллективного договора, ибо в таких странах, которые, как Лагуна, придерживались древней истории права, неохотно покидают судебный путь.

В этой связи оказалось, что сословия Кампаньи, также и в Лагуне, уже заменились, поскольку издавна возвращавшиеся горожане отчасти сохраняли среди пастухов клиентуру, отчасти благодаря кровным корням разделились на кланы. И эти банды теперь последовали за изменением к худшему, особенно там, где порядок уже дал трещину.

Таким образом, расцвели тёмные консультанты, которые защищали противоправные деяния от судебной ответственности, и в маленьких портовых трактирах открыто окопались организации. За их столами можно было увидеть теперь те же картины, что и снаружи, у пастбищных костров — тут сидели старые

пастухи, обмотав ноги необработанной шкурой, рядом с офицерами, которые со времён Альта Планы оказались на половине денежного довольствия; и всё, что по обе стороны мраморных утёсов жило в недовольном или в падком на изменения народе, имело обыкновение устраивать здесь попойки и, влетая и вылетая, роилось, как в тёмных штаб-квартирах.

То обстоятельство, что сыновья знати и молодые люди, которые полагали, будто настал час новой свободы, тоже участвовали в этом действии, могло только усиливать путаницу. Они собирались вокруг литераторов, которые принялись подражать пастушьим песням, и молодёжь теперь вместо шерстяной и холщовой одежды носила ворсистые шкуры и с крепкими дубинами расхаживала по корсо¹.

В этих кругах также вошло в обычай презирать возвращение лозы и злаков и видеть оплот подлинного, исконного обычая в диком

1 Главная улица южного города.

пастушьем краю. Между тем известны лёгкие и несколько туманные идеи, которые вызывают воодушевление, и можно было бы, конечно, посмеяться над ними, когда бы дело не доходило до откровенного кощунства, которое любому, не утратившему разум, человеку было совершенно непонятно.

Ю

В Кампанье, где тропы пастбищ пересекают границы районов, можно было часто увидеть маленьких пастушьих богов. Они почитались стражами сельских общин и были непритязательно вырезаны из камня или старого дуба. О них можно было издалека узнать по прогорклому запаху, который они источали. Традиционное пожертвование состояло в наливании горячего масла и жира внутренностей, который наскрёб для этого жертвенный нож. По этой причине ты всегда видел на зелёной пастбищной почве вокруг изображений чёрные шрамы от маленьких огоньков. После

поднесения дара пастухи оберегали ими обуглившийся стебелёк, которым в ночь солнцестояния они сразу ставили метку на тело всего, что должно было забеременеть: женщины либо скотины.

Если мы встречали в таком месте служаков, идущих с дойки, они прикрывали лицо косынкой, а брат Ото, который был другом и знатоком садовых богов, никогда не проходил мимо, не посвятив им шутку. Он также приписывал им солидный возраст и называл их спутниками Юпитера времён его детства.

Потом там ещё была, недалеко от Филлерхорна¹ небольшая роща плакучих ив, в которой стояло изображение быка с красными ноздрями, красным языком и раскрашенным

1 Fillerhorn. «Лесок позади нашего дома называется «Филлекуле» и прежде, по всей видимости, служил участком, на котором зарывали в землю павший скот, ведь *fillen*, давно вышедший из употребления глагол, означает «обдирать» и «снимать шкуру». Слово это, вероятно, можно будет использовать там, где в «Мраморных утёсах» изображается хижина живодеёра. Впрочем, и здесь над нечистым местом продолжает витать лёгкий запах, хотя на нём уже давным-давно ничего не закапывают. Почти неизменным спутником жилья, картины человеческого поселения бывает такая площадка, устраиваемая, как правило, от глаз подальше». («Излучения»: «Сады и дороги», Кирххорст, 21 апреля 1939 г.)

красной краской членом. Место пользовалось дурной репутацией, и с ним было связано предание о жестоких праздниках.

Но кто бы мог поверить, что масляным и жировым богам, наполняющим вымя коровам, теперь начнут поклоняться в Лагуне? И это происходило в домах, где испокон веку насмехались над жертвой и жертвоприношением. Те же умы, которые считали себя достаточно сильными, чтобы разорвать путы древней веры предков, оказались порабощёнными колдовством варварских идолов. Картина, которую они предлагали в своём ослеплении, была отвратительнее опьянения в полдень. Полагая, что они взлетают, и, похваляясь этим, они между тем копались в пыли.

Дурной знак заключался и в том, что они распространяли это заблуждение на почитание мёртвых. Во все времена в Лагуне было очень знаменито сословие поэтов. Они считались там вольными дарителями, и талант написать стихотворение рассматривался как источник изобилия. То, что цвела и плодоносила лоза, то, что люди и домашние животные

развивались, то, что злые ветра развеивались и в сердцах жило бодрое единодушие — всё это приписывали благозвучию, живущему в гимнах и песнопениях. В этом был убеждён даже самый мелкий виноградарь, и даже более в том, что благозвучие обладает целебной силой.

Никто не был там настолько бедным, чтобы не отнести первое и лучшее, что приносил его сад и фрукты, в хижины мыслителей и кельи поэтов. Там каждый, кто чувствовал себя призванным духовно служить миру, мог жить в досуге — правда, в бедности, но не в нужде. Теми, кто обрабатывал пашню и возделывал слово, всегда считалась образцом древняя фраза: «Лучшее боги дают нам даром».

Признаком хороших времён является то, что и духовная власть в них тоже действует зримо и современно. Это справедливо было и здесь; в смене времён года, богослужении и человеческой жизни ни один праздник не обходился без стихотворения. Но прежде всего поэту принадлежала по праву во время торжественных похорон, после того как

покойник был благословлён, обязанность судьи мёртвых. Его миссия состояла в том, чтобы бросить богоподобный взор на угасшую жизнь и воспеть её в стихе, как ныряльщик поднимает на поверхность жемчужину из раковины.

Искони существовало два размера для чествования мёртвых, обычным из которых был *elegeion*¹. *Elegeion* считался пожертвованием, которое подобает честно проведённой в горечи и радости жизни, отмеренной нам, людям. Его тон был настроен на стенания, однако был также полон уверенности, которая как утешение даётся сердцу в страдании.

Но потом появился *eburnum*², который в древности предусматривался для тех, кто убил чудовищ, обитавших перед людским поселением в болотах и расселинах. Классический *eburnum* должен был исполняться в наивысшем, просветлённом веселье; он должен был заканчиваться *admiratio*³, во время

1 Элегическая надпись, панихида; см. элегия (греч.).

2 Имеет отношение к Королеве змей.

3 Восхищение, восторг; удивление, изумление (лат.).

которого из разломанной клетки в воздух выпускался чёрный орёл. По мере того, как времена смягчались, право на *eburnum* признавалось за теми, кого называли покровителями или оптиматами. Кто теперь причислялся к ним, того народ всегда помнил, хотя с повышением качества жизни изменялись и изображения предков.

Но теперь впервые случилось так, что из-за изречения судьи мёртвых возник спор. Ибо вместе с союзами в города проникли и междоусобицы кровной мести Кампаньи. Подобно эпидемии, которая ещё находит нетронутые земли, здесь тоже мощно распухла ненависть. Ночью и с подлым оружием люди нападали друг на друга, и всё это лишь по той причине, что сто лет назад Венцель был убит Эгором. Но что значат поводы, когда нас охватывает ослепление. Очень скоро ни одна ночь не проходила без того, чтобы стража на улицах и у жилищ не натыкалась на мертвецов, и некоторые были с ранами, которые недостойны меча — даже с такими, которые в слепой ярости наносились уже поверженным.

В этих схватках, которые вели к охоте на человека, нападениям из-за угла и поджогу с убийством, партии потеряли всякую меру. Вскоре создалось впечатление, что они уже почти не рассматривали себя как людей, и их язык пропитался словами, обычно считавшимися паразитами, которых надлежало уничтожать, истреблять и выкуривать. Они могли признать убийство только во враждебном стане, и тем не менее у них было похвальным то, что на той стороне они презирали. В то время, как каждый считал, что чужие мертвецы едва ли заслуживают даже того, чтобы их закопали ночью и без света, своих следовало заворачивать в пурпурную ткань, должен был звучать *eburnum* и взлетать орёл, который относит к богам жизнеописание героев и ясновидящих.

Правда, ни один из больших певцов, даже если им сулили золотые горы, не находил себя готовым к подобному осквернению. В таком случае те приводили арфистов, которые аккомпанируют танцам на кирмесе¹, и слепых

1 Кирмес, ярмарка, народные гулянья (раньше в связи с освящением храма; теперь светский праздник).

исполнителей на цитре, которые перед питейными заведениями публичных домов веселят пьяных гостей песнями о раковине Венеры или об обжоре Геркулесе. Так что бойцы и барды оказывались достойны друг друга.

Однако известно, что *metron*¹ совершенно неподкупно. До его незримых колонн и ворот не дотягивается огонь разрушения. Ничья воля не вторгается в благозвучие, и потому те, кто ошибочно полагал, будто жертвенные дары такого ранга, как *eburnum*, можно купить за деньги, остались обманутыми обманщиками. Мы присутствовали только на первых из этих торжественных похорон, и мы увидели

1 *Metron* (ср. *род*) — мерило, мера (греч.). В письме брату в ноябре 1934 г. Э. Юнгер сформулировал поэтическую и одновременно этическую программу: «Революционная фаза, в которую мы вступили, может выдерживаться только более глубокими силами, чем риторические, литературные или идеологические, — это проверка нас на существование. Теперь нужно положить на стол лист и указать, кто есть. В состоянии дурного привидения и обмана мысль становится опасной уже лишь потому, что она правильна, и умы, обладающие верной мерой, действуют, как зеркала, в которых раскрывается недействительность царства теней. Логичная мысль, чистый *Metron*, благородное действие, даже неучастие в низком — вот сегодня вещи, которые поднимаются как угрожающее оружие, действующее тем острее, чем меньше ты соотносишься со временем».

то, чего и ожидали. Подёнщик, который должен был подняться на высокую, составленную из лёгкого огненного материала арку стихотворения, тотчас же начал заикаться и сконфузился. Но потом язык у него развязался, он обратился к низким ямбам ненависти и мести, которые извивались в пыли. Во время этого спектакля мы видели толпу в красных праздничных одеждах, какие надеваются к eburnum, а также членов магистрата и духовенство в облачении. Обычно, когда взлетал орёл, царила тишина, на сей раз разразилось неистовое ликование.

При этих звуках нас охватила скорбь, и с нами некоторых, ибо мы почувствовали, что добрый дух предков теперь ушёл из Лагуны.

II

Можно было бы назвать ещё много примет, в которых выражался упадок. Они походили на сыпь, которая появляется, исчезает и возвращается. Между тем и ясные дни, когда всё казалось, как прежде, были тоже забрызганы.

Именно в этом проявлялась искусность Старшего лесничего; он отмерял страх малыми дозами, которые постепенно увеличивал и целью которых был паралич сопротивления. Роль, которую он играл в этих беспорядках, очень тонко сплетавшихся в его лесах, была ролью наводящей порядок власти, ибо пока его низшие агенты, сидевшие в пасту-

ших союзах, умножали материал анархии, посвящённые проникали на должности в учреждения и магистраты, даже в монастыри, где считались сильными умами, способными усмирить чернь. Старший лесничий походил на злого врача, который нарочно усиливает страдание, чтобы потом произвести у больного разрезы, которые он замыслил заранее.

В магистратах, конечно, имелись головы, понимавшие смысл такой игры, но у них не хватало власти, чтобы этому воспрепятствовать. В Лагуне издавна содержали на жалование иностранные войска, и пока дела были в порядке, те хорошо служили. Но когда теперь распри проникли до самого побережья, каждый стремился привлечь наёмников, и Биденхорн, их предводитель, за ночь приобрёл высокую ценность. Ему было важно не столько повлиять на состояние дел, для него благоприятных; скорее он начал пользоваться затруднительным положением и резервировал войска как деньги, вложенные под проценты. Он укрылся с ними в старой крепости за опоясывающей стеной и жил там, как мышь

в сале. Так, под сводами большой башни он устроил питейные покои, где вольготно устроился под защитой каменных стен и пировал. На пёстром стекле оконной арки виднелся его герб — дварога с изречением: «De Willekumm / Geiht um!»¹

Он обитал в келье, исполненный того нарочито приветливого северного лукавства, которое часто недооценивают, и с хорошо разыгранным участием выслушивал пострадавших. На пирушке он имел тогда обыкновение горячо выступать в защиту права и порядка — однако никто не видел, чтобы он приступил к исправлению ситуации. Наряду с этим он вёл переговоры не только с клановыми союзами, но также с капитанами Старшего лесничего, которых он отменно угощал за счёт Лагуны. С этими лесными капитанами он готовил общинам коварный удар. Притворяясь нуждающимся в помощи, он поручал им и их лесным шайкам надзор за сельскими районами. И тогда, надев маску порядка, целиком воцарился ужас.

1 «Сила на пир/Дарует мир!» (алеман.).

Контингенты, находившиеся в распоряжении капитанов, сначала были незначительными и отправлялись в поход разрозненно, как жандармерия. Это в первую очередь относилось к охотникам, которых мы часто видели бродящими вокруг Рутового скита и которые, к сожалению, также ужинали в кухне Лампузы, лесная шайка, что называется. Маленькие, щурившие глаза субъекты с тёмными отвислыми бородёнками на корявых лицах; они объяснялись на блатном жаргоне, который из всех языков позаимствовал самое отвратительное и был будто выпечен из кровавой грязи.

Когда мы с ними сталкивались, они были вооружены лёгким оружием: арканами, силками и кривыми кинжалами, которые они называли «разливщиками крови»; и занимались они преимущественно низшими животными. На нашей лестнице, ведущей на мраморные утёсы, они преследовали крупных жемчужных ящериц и ловили их издревле известным способом, смачивая тонкую петлю слюной. Красивые, золотисто-зелёные, с ярко-белыми

звёздочками животные часто радовали наш глаз, особенно когда мы замечали их в листве ежевики, которая осенью побегами усиков покрывала утёсы. Их шкурки пользовались большим спросом у чужеземных куртизанок, которых старик содержал при своих дворах; его мюскадены¹ и модники тоже изготавливали из них пояса и изящные футляры. Так немилосердно преследовались эти зелёные волшебные существа и подвергались бесчеловечной жестокости. Более того, живодеёры даже не давали себе труда убивать их, а сдирали с них кожу заживо и сбрасывали их белые тельца вниз с утёсов, у подножия которых ящерицы в мучениях околевали. Глубоко заложена ненависть к прекрасному, пылающая в подлых сердцах.

Такие браконьерские выходки между тем были только предлогом для вынюхивания настроений на хуторах и в домах, теплится ли там ещё дух свободы. Тогда бандитские налеты, известные уже по Кампанье, повторялись,

1 Мюскаден — щёголь-роялист эпохи Директории во Франции.

и жителей уводили под покровом ночи и тумана. Обратно не возвращался никто, и то, что мы слышали об их судьбе, шёпотом произносимое в народе, напоминало о трупах жемчужных ящериц, которых мы находили на утёсах ободранными, и наполняло наше сердце тоской.

Потом появились и лесничие, которых часто видели за работой на виноградных склонах и на холмах. Они, похоже, по-новому измеряли страну, ибо велели рыть в земле ямы и устанавливали шесты с руническими знаками и звериными символами. Способ, каким они передвигались по полям и нивам, был ещё ошеломительнее способа охотников, ибо они бродили по издревле распахиваемой земле, точно по языческой пустоши, не признавая ни дорог, ни границ. Они не отдавали дань уважения священным иконам. Видели, как они пересекают богатый край, словно не возделанную и неосвящённую глушь.

По таким знакам можно было догадаться, чего ещё следовало ожидать от старика, засевшего глубоко в своих лесах. Ему, который

ненавидел плуг, зерно, лозу и домашних животных и которому были противны светлое поселение и открытое человеческое существо, нечего было делать с властью над таким изобилием. Его сердце наполнялось радостью только тогда, когда на развалинах городов зеленели мох и плющ, и когда в потрескавшихся крестовых сводах соборов в лунном свете порхала летучая мышь. Будь его воля, последние из его больших деревьев омывали бы корни на берегах лагуны, а над их кронами серебристая цапля столкнулась бы с чёрным аистом, который из дубовых делянок улетал к болоту. В тёмной земле виноградников клыками рылись бы кабаны, а по монастырским прудам кружили бы бобры, когда в сумерках скрытыми тропами дичь большими стаями движется к водопою. И по краям, где деревья не уходят корнями в болото, в ближайший год стал бы бродить вальдшнеп и поздней осенью дрозд приходил бы по красную ягоду.

I2

Старший лесничий не любил также ни крестьянских усадеб, ни келий поэтов, ни вообще тех мест, где действовали обдуманно. Лучшее, что обитало на его территориях — это тип неотёсанных малых, вся радостность жизни которых заключалась в том, чтобы идти по следу и травить, и которые были преданы старику от отца до сына. Это были искусные в охоте люди, тогда как те низкие егеря, которых мы видели в Лагуне, происходили из странных деревень, сохранявшихся стариком в глубине ельника.

Фортунио, ещё лучше знавший империю старика, поведал мне о них как о гнёздах

древних хижин, стены которых сооружены из глины и мелко рубленного камыша, а острые фронтоны покрыты блёклым мхом. Там, как в альбигойских пещерах, жило объявленное вне закона тёмное отродье. И даже когда этот народец приходил в движение, в их дырах и норах всегда кто-нибудь оставался, как в горшке с перцем на дне непременно прилипает последний слой приправы.

В эти лесные дебри убегали те, кто, будь в стране война или мирное время, хотел избежать уничтожения — например, гунны, татары, цыгане, альбигойцы и еретические секты всякого свойства. К ним присоединялись те, кто ускользал от профоса и руки палача, рассеянные группы больших разбойничьих банд из Польши и с Нижнего Рейна, и бабы, только и умеющие работать руками, однако лентяйки, и те, которых за ворота вымел судебный пристав.

Маги и ведьмаки, избежавшие сожжения на костре, устраивали здесь свои колдовские кухни; и у посвящённых, венецианцев и алхимиков эти неизвестные деревни считались

сокровищницей Чёрного искусства. Я видел в руках Фортуньо рукопись, принадлежавшую рабби Нилюферу, который, будучи изгнанным из Смирны, в своих скитаниях тоже однажды посетил эти леса. Из его сочинения можно было увидеть, что здесь, точно в мутных разводьях, по берегам которых гнездятся крысы, отразилась всемирная история. Здесь находился ключ к некоторым её тёмным разделам; сообщалось, что мастер Вийон после изгнания из Перуара нашёл убежище в одном из этих лесных захолустьев, где, как в постоянном местопребывании многих тёмных компаний, располагалась также братия *coquillards*¹. Потом они переходили в Бургундию, однако убежище всегда оставалось тут.

Эти леса с простыми и сложными процентами возвращали из своих недр всё, что бы из мира ни укрывалось в них. Из них в первую очередь выдвинулись те низкие охотники, которые вызываются уничтожать паразитов в доме и в поле, и как полагал Нилюфер, эти

1 *Coquillard* (франц.) — нищий, вор, грабитель (выдававший себя за пилигрима).

леса были местом, куда с детьми исчез гамельнский крысолов. С этими шайками грабёж и распря переходили из страны в страну. Но из лесов происходили и изысканные мошенники, которые появляются с каретой и прислугой и которых можно встретить даже при княжеских дворах. Так в торный мир тёк отсюда тёмный кровавый поток. Где бы ни происходили злодеяния и совершённые из зависти преступления, в этом непременно была замешана какая-нибудь из здешних гнусных компаний — и они же участвовали в хороводе бедных плутов на виселицах, которых на холмах заставлял плясать ветер.

Для них всех старик был большим боссом, у которого они целовали край красной охотничьей куртки или голенище сапога, если он сидел верхом на лошади. Он в свою очередь поступал с этим народом по своему усмотрению и иногда велел, как рябинников, развесить на деревьях несколько дюжин, если казалось, что они слишком размножились. Но обычно на его землях можно было обитать и вкусно есть, как ему нравилось.

Как покровитель родины вагантов старик и во внешнем мире был большой, скрытой и широко разветвлённой властью. Где бы здания, какие воздвигает человеческий порядок, ни становились ветхими, наружу точно грибковое сплетение прорывалось его отродье. Это оно двигалось и действовало там, где слуги отказывались служить исконному дому, где на кораблях бунтовали в шторм, где изменяли сражающемуся в битве королю.

Такие силы хорошо служили лишь Старшему лесничему. Когда он принимал мавританцев в своём городском доме, его окружало обилие челяди — егеря в зелёных ливреях, лакеи в красных фраках и чёрных башмаках с пряжками, домашние служащие и доверенные лица всякого рода. Во время таких праздников немного ощущался тот уют, какой старик любил в своих лесах; просторный зал был тёплым и сияющим не от солнечного света, но как от факелов и золота, сверкающего в пещерах.

Как в тиглях алхимиков из примитивного угольного жара высвечивается алмаз, так

иногда в лесных валежниках вырастали женщины исключительной красоты. Они, как любой в лесах, были крепостными старика, и во время путешествий он всегда имел при себе в эскорте паланкины. Принимая в одном из своих маленьких домов перед воротами в гости молодых мавританцев и пребывая в хорошем настроении, он, случалось, выставял напоказ этих одалисок, как другие демонстрируют свои драгоценности. Он велел пригласить их в бильярдную, где после плотной трапезы собирались за имбирным напитком, и там расставлял им шары для партии. Тогда становились видны неприкрытые части тел, в красном свете сгибавшихся над зелёным сукном, они медленно склоняются и поворачиваются в разнообразных позах, которых требует игра. Из одного леса слышали об этом вещи, которые были грубее: когда после долгой травли лисы, лося или медведя он пировал на украшенном оружием и оленьими рогами гумне и, повелевая, сидел на заваленном окровавленными останками тронном возвышении.

Наряду с этим такие женщины служили ему приманочными птицами самого изысканного свойства, где бы в мире он ни втягивался в дела. Тот, кто приближался к этим обманчивым цветкам, выросшим на болоте, подпадал под обаяние, которое правит тёмной стороной жизни; и уже не раз мы в наши мавританские времена видели, как кто-то, кого ждала большая судьба, погибал — ибо в таких интригах запутывается в первую очередь высокий разум.

Таковым был личный состав, которому предстояло заселить нашу область, если бы Старик стал полновластным хозяином над Лагуной. Так разрастаются дурман, мак и белена вместо благородных плодов, когда сады опустошены врагом. Тогда вместо дарителей вина и хлеба на цоколях встали б чужие боги — как Диана, которая на болотах выродилась в буйную плодовитость и блистала там гроздевидной бахромой золотых грудей, и как картины ужаса, которые когтями, рогами и зубами вызывают страх и требуют жертв, недостойных человека.

13

Таким было положение дел на седьмом году после Альта Планы, и этим походом мы объясняли зло, которое помрачило страну. Хотя мы оба тоже принимали в нём участие и вместе с пурпурными всадниками участвовали в бойне у перевалов — но лишь чтобы выполнить свой вассальский долг, и в этой ситуации нам оставалось сражаться, а не размышлять, где были справедливость и несправедливость. И поскольку рукой управлять легче, чем сердцем, то наши помысли были с теми народами, которые защищали свою исконную свободу от всякой подавля-

ющей силы, и в их победе мы усматривали больше, чем просто военную удачу.

Сюда добавлялось, что на Альта Плану нам оказали гостеприимство, потому что у перевалов в наши руки попал и обменялся с нами подарками молодой Ансгар, сын хозяйина Боданальпы. С террасы мы далеко-далеко видели Боданальпу, она представала голубым горным лугом, который был скрыт глубоко в море глетчерных зубцов, и мысль, что на его дворе в долине в любое время для нас как для братьев были приготовлены и стол и кров, придавала нам уверенности.

Когда на родине наших отцов, далеко на севере, мы снова вложили меч в ножны, к нам вернулся вкус к жизни, очищенной от насилия, и мы вспомнили о своих прежних исследованиях. Мы побывали у мавританцев, чтобы с честью попрощаться, и с чёрно-красно-чёрной лентой были переведены в корпорацию торжеств. Подняться высоко в этом ордене у нас хватило бы мужества и умственных способностей; однако нам было отказано в таланте взирать свысока на страдания слабых

и безымянных, как с сенаторского места глядят на арену цирка. Но как быть, если слабые не признают закона и в ослеплении собственной рукой открывают засовы, замкнутые для их защиты? Мавританцев мы тоже не могли вполне порицать, потому что теперь справедливость основательно перемешалась с несправедливостью; зашатались твердыни, и время созрело для страшных людей. Человеческий порядок подобен космосу в том, что время от времени он, чтобы возродиться по-новому, должен погружаться в огонь.

Мы действовали, пожалуй, правильно, избегая раздоров, в которых не сыщешь славы, а мирно вернулись в Лагуну, чтобы обратиться к цветам на сверкающем побережье. В мимолётных пёстрых знаках этих цветов, как в тайном иероглифическом письме, покоится неизменное, и они подобны часам, всегда указывающим правильный час.

Но едва только дом и сад были приведены в порядок и работа пошла так успешно, что ожидалось уже первые результаты, как на кампаньском фронте мраморных утёсов

вспыхнуло зарево поджогов и убийств. Когда же затем волнение перекинулось на Лагуну, мы были вынуждены прислушиваться к сообщениям, чтобы по достоинству оценить характер и размеры угрозы.

Нас навещал из Кампаньи старый Беловар, которого мы в шутку называли арнаутом¹ и которого можно было часто встретить на кухне Лампузы. Он приходил с травами и редкими корнями, которые его женщины выкапывали из тучной земли пастбищных долин, а Лампуза сушила для своих наваров и микстур. По этой причине мы подружились с ним и на скамейке во дворе перед кухней распили с ним не один кувшинчик вина. Он был очень осведомлён во всех названиях, какими народ нарекает цветы, а он знал их множество; и мы охотно расспрашивали его обо всём этом, чтобы обогатить нашу синонимику. Он знал также местонахождение редких видов — таких, как ремнелепестник, с козлиным запахом

1 Арнауты — эллинизированные и аккультурированные в Византийской империи на территории Греции албанцы.

расцветавший в кустах, фигурный ацерас, губа которого образована в форме человеческого тела, и ятрышник, цветы которого похожи на глаз пантеры. Поэтому он часто сопровождал нас, когда мы отправлялись по ту сторону мраморных утёсов. Он знал там все тропки до самых лесов; но, прежде всего, его присутствие оказывалось надёжной защитой, когда пастухи проявляли враждебность.

В этом старике воплотилось самое лучшее из того, что могут предложить пастбищные земли — правда, на иной лад, нежели то грезились мюскаденам, которые полагали найти в кочевом народе идеального человека, восплаемого ими в слащавых стихах. Старому Беловару минуло семьдесят лет, он был высокого роста, поджарый, с белой бородой, резко контрастировавшей с чёрными волосами на голове. В его лице обращали на себя внимание прежде всего тёмные глаза, которые, с орлиной зоркостью высматривая далеко окрест, ничего не упускали из виду, но в гневе сверкали по-волчьи. Старик носил в ушах золотые кольца, его украшали также красный головной

платок и красный кушак, оставлявший на виду набалдашник и остриё кинжала. На деревянной рукоятке этого старого оружия было сделано одиннадцать насечек, протравленных красной краской. Когда мы познакомились с ним, старик как раз взял себе третью жену, бабёнку шестнадцати лет, которую держал в сугубой строгости и даже поколачивал, будучи пьяным. Когда он заводил речь о кровной мести, его глаза начинали метать искры, и мы понимали, что сердце врага притягивало его, словно могучий магнит, до тех пор, пока оно билось; и что отблеск этих мстительных действий сделал из него сказителя, какие уже были в Кампанье. Когда там, у костра, выпивали в честь пастушьих богов, часто случалось, что кто-то из круга поднимался и затем возвышенными словами воспевал смертельный удар, нанесённый им врагу.

Со временем мы привыкли к старику и охотно виделись с ним, пожалуй, так же как терпят верную собаку, хотя в ней ещё пылает волчья натура. И даже если в нём полыхал дикий огонь земных недр, ничего постыдного

в его характере не было, и потому тёмные силы, из лесов проникшие в Кампанью, оставались ему ненавистными. Мы скоро заметили, что эта суровая жизнь была не лишена добродетели; она и в добре проявлялась жарче, чем представляют себе в городах. Дружба была для него больше, чем чувство; она пылала не менее основательно и неукротимо, чем ненависть. И нам тоже пришлось в этом убедиться, когда в первые годы брату Ото удалось перед форумом повернуть к лучшему неприятное дело, в которое консультанты Лагуны впутали старика. Тогда он заключил нас в своё сердце, и глаза его начинали светиться, стоило ему только издалека нас увидеть.

Вскоре нам пришлось в его присутствии быть сдержаннее в выражении пожеланий, ибо он забрался бы и в гнездо грифа, чтобы порадовать нас его птенцами. Мы могли располагать им в любое время как хорошим оружием, которое держишь в руках. И мы познали в нём власть, которой пользуемся, когда кто-то другой всецело нам отдаётся, и которая в ходе цивилизации исчезает.

Только благодаря этой дружбе мы чувствовали себя хорошо защищёнными от опасностей, угрожавших со стороны Кампаньи. Бывало, иногда ночью, когда мы тихо сидели за работой в библиотеке и в кабинете с гербариями, на краю утёсов вспыхивало зарево убийственного пожара. Нередко события происходили так близко, что, если дул северный ветер, их звук долетал до нас. Мы слышали, как удары тарана били в ворота хутора, и рёв скота, стоявшего в охваченных пламенем хлевах. Потом ветер доносил чуть слышную сумятицу голосов и звон колоколов, звучавших в маленьких домашних часовнях — и когда всё это внезапно смолкало, ухо ещё долго прислушивалось в ночи.

Однако мы знали, что нашему Рутовому скиту беда не грозит, пока старый пастух со своим диким кланом ещё находится в степи.

I4

А вот на лагунном фронте мраморных утёсов мы могли рассчитывать на содействие одного христианского монаха, отца Лампроса из монастыря Марии Лунарис, почитаемой в народе как Фальцифера¹. В этих обоих мужах, в пастухе и монахе, проявлялось различие того свойства, что почва оказывает на человека не меньшее влияние, чем на растения. В старом кровном мстителе жили пастбищные долины, в которые ещё ни разу не врезалось железо плужного лемеха, а в священнике — разрых-

1 От итальянского *falcifero* — с косой на плече; серпоносная.

ленная земля виноградника, за много столетий благодаря заботе человеческих рук ставшая такой тонкой, как пыль песочных часов.

Об отце Лампросе мы сначала услышали из Упсалы, а именно от Эрхадта, который служил там хранителем гербария и снабжал нас материалом для наших работ. В ту пору мы были заняты способом разделения круга, положением осей, лежащим в основе органических фигур — и в конечном итоге, кристаллизмом, который неизменно придаёт смысл росту, как стрелка — циферблату часов. Так вот, Эрхардт сообщил нам, что мы в Лагуне живём по соседству с автором прекрасного произведения о симметрии плодов — Филлобиусом, под каковым именем скрывается отец Лампрос. Поскольку это известие пробудило в нас крайнее любопытство, мы, предварительно уведомив монаха короткой запиской, нанесли визит в монастырь Фальциферы.

Монастырь располагался от нас так близко, что с Рутового скита мы видели шпиль его колокольни. Монастырская церковь была местом паломничества, и дорога к ней вела по

пологим альпийским лугам, на которых так пышно цвели старые деревья, что в белизне почти не разглядеть было зелёных листочков. Утром в садах, которые освежал ветер с моря, не видно было ни единого человека; и благодаря силе, жившей в цветках, воздух воздействовал так духовно-возвышенно, что человек шагал, будто по волшебным садам. Вскоре мы увидели перед собой монастырь, располагавшийся на холме, с его церковью, возведённой в невычурном стиле. Уже издали мы услышали звуки органа, сопровождавшие пение, которым пилигримы почитали икону.

Когда привратник проводил нас через церковь, мы тоже отдали должное чудотворной иконе. Мы увидели женщину на облачном троне, ноги её, как на скамеечке, покоились на тонкой луне, а серп образовал лицо, смотревшее на землю. Таким образом, божество представлялось силой, которая восседает над переходящим и которую почитают одновременно как подательницу и примирительницу.

В ограде нас встретил циркулятор, препроводивший нас в библиотеку, которая нахо-

дилась под присмотром отца Лампроса. Здесь он обычно проводил часы, предусмотренные для работы, и здесь же, в окружении высоких фолиантов, мы часто проводили время в беседе с ним. В первый раз переступив порог, мы увидели патера, который только что воротился из монастырского сада, стоящим в тихом помещении с метёлкой пурпурного гладиолуса в руке. На голове его ещё была широкая бобровая шапка, а на белой мантии играл пёстрый свет, падавший через окна крытой галереи.

В отце Лампросе мы нашли человека приблизительно пятидесяти лет, он был среднего роста и изящного телосложения. Когда мы приблизились, нас охватила робость, ибо лицо и кисти рук этого монаха показались нам необычными и странными. Казалось, если мне будет позволено так выразиться, что они принадлежат трупу, и было трудно поверить, что в них ещё пульсируют кровь и жизнь. Они были словно вылеплены из мягкого воска — чудилось, что мимика лишь очень медленно пробивается на поверхность

и отражается не столько чертами лица, сколько мерцанием. Лицо производило необычайно застывшее и симптоматичное впечатление, особенно когда он, как ему нравилось, во время беседы воздевал руку. И тем не менее в этом теле жила та своеобразно изящная лёгкость, которая проникла в него подобно дуновению дыхания, оживляющему манекен. Ему также нельзя было отказать в ясности.

Приветствуя, брат Ото, чтобы похвалить икону, сказал, что в ней, на его взгляд, в высоком образе соединилось обаяние Фортуны с привлекательностью Весты — после чего монах с вежливым жестом опустил лицо в землю и затем, улыбаясь, обратил его к нам. Сложилось ощущение, что он воспринял маленькую речь, предварительно обдумав её, как жертвенный дар.

По этим и многим другим чертам мы поняли, что отец Лампрос избегает дискуссий; в молчании он производил более сильное впечатление, чем разговаривая. Аналогичным образом он вёл себя и в науке, в которой

принадлежал к мастерам, не участвуя в споре школ. Его принцип заключался в том, что любая теория в естествознании вносит свой вклад в генезис, ибо дух человеческий в любом возрасте по-новому набрасывает черновик творения, — и что в любой интерпретации живёт не больше истины, чем в листочке, который распускается и очень скоро увядает. По этой причине он и назвал себя Филлобиус, «живущий в листьях» — в том причудливом смешении скромности и гордости, которые были ему свойственны.

То, что отец Лампрос не любил противоречий, тоже было признаком вежливости, которая в его характере оформилась до крайней утончённости. Поскольку он одновременно обладал превосходством, он поступал так, чтобы выслушать слово собеседника и вернуть, придав ему более высокий смысл. В такой манере он и ответил на приветствие брата Ото. В ответе заключалась не только доброта, которую за долгие годы, точно благородное вино, приобретает и усиливает клирик, — в нём содержалась также и куртуазность, какая

культивируется в высоких домах и которая их отпрысков наделяет второй, более лёгкой натурой. Одновременно в ней заключалась гордость — ибо когда царишь, обладаешь собственным суждением, а чужими мнениями больше не занимаешься.

Было известно, что отец Лампрос происходит из древне-бургундского рода, однако он никогда о прошлом не заговаривал. Из своего мирского времени он сохранил печатку, в красном карнеоле которой было выгравировано крыло грифа, а под ним в качестве гербового девиза слова «*meun geduld hat ursach*»¹. В этом тоже проявлялись оба полюса его сущности — скромность и гордость.

Вскоре мы стали частыми гостями в монастыре Фальциферы, будь то в цветочном саду, будь то в библиотеке. Таким образом наша «*Florula*» расширялась гораздо богаче, чем до сих пор, поскольку отец Лампрос уже много лет собирал в Лагуне, и мы ни разу не ушли от него без нескольких гербарных

1 «У моего терпения есть причина» (алеман.).

листьев, которые он надписал собственной рукой и каждый из которых был маленьким шедевром.

Не менее благоприятное воздействие это общение производило на нашу работу о положении осей, ибо для плана много значит, когда его можно время от времени согласовывать с добрым гением. В этом отношении мы получили впечатление, что патер совсем незаметно и без всякой претензии на авторство участвовал в нашем труде. Он не только обладал большими знаниями явлений, но и умел так обозначить мгновения высокого уровня, что смысл нашей собственной работы вспыхивал в нас как молния.

Одно из этих указаний осталось для нас особенно памятным. Однажды утром патер повёл нас на цветочный склон, где монастырские садовники рано поутру занимались прополкой, к месту, накрытому красным сукном. Он полагал, что таким образом спасёт растение от мотыги для сорняков, чтобы порадовать наш взор, — но, когда сукно сдёрнули, перед нами предстало не что иное, как молодой

кустик того сорта подорожника, которому Линней дал название *maior* и какой находишь на любой тропинке, на которую когда-либо ступала нога человека. Но когда, нагнувшись вниз, мы рассмотрели его внимательней, нам показалось, как будто он вырос необычайно большим и пропорциональным; его округлость словно бы образовывала зелёный круг, который членили и зубчато окаймляли овальные листья, в их середине поднималась лучистая точка роста. Внешний вид казался одновременно как свежим и нежным в плоти, так и неразрушимым в духовном блеске симметрии. Тут нас пронял озноб; мы почувствовали, как в нас объединилось желание жить и желание умереть; и поднявшись, мы посмотрели в улыбающееся лицо отца Лампроса. Он доверил нам мистерию.

Мы тем выше могли оценить досуг, подаренный нам отцом Лампросом, что его имя пользовалось большим почётом у христиан и к нему приходили многие, ожидавшие совета и утешения. Но его любили и те, кто поклонялся Двенадцати богам или происходил

с Севера, где в просторных залах и огороженных рощах почитают асов. Им тоже, когда они являлись к нему, патер жертвовал себя с равной энергией, только не в священнической форме. Часто брат Ото, который повидал много храмов и мистерий, называл в этом уме удивительным, что он соединяет такой высокий уровень знания с точными правилами. Брат Ото полагал, что догму тоже сопровождают уровни одухотворения — как одеяние, которое на ранних ступенях переплетено золотом и пурпурной материей и потом с каждым шагом достигает незримого качества, постепенно теряя узор на свету.

При том доверии, которое все силы, действующие в Лагуне, оказывали отцу Лампросу, он был полностью посвящён в ход дел. Он прозревал игру, которая велась там, пожалуй, лучше, нежели все другие, и потому нам представлялось странным, что в его монастырской жизни она будто его не касалась. Скорее казалось, что по мере того, как надвигалась опасность, его существо просветлялось и светило сильнее.

Мы часто говорили об этом в нашем Рутовом скиту, сидя у огня из виноградных черенков, — ибо в грозные времена такие умы, как башни возвышаются над шатким поколением. Иногда мы спрашивали себя, не кажется ли ему разложение зашедшим уже слишком далеко, чтобы его лечить; или скромность и гордость мешали ему вступить в спор партий, будь то словами, будь то действием. Однако брат Ото лучше всего выразил связь, сказав, что для таких натур, как он, нет необходимости разрушать ужасное, они созданы, чтобы вступать в высокие градусы огня, как через ворота в отцовский дом. Он, который жил за монастырскими стенами, точно мечтатель, был, вероятно, только для нас полной действительностью.

Как бы то ни было — если отец Лампрос пренебрегал безопасностью для себя, то за нас он преданно беспокоился. От него часто приходили записки, которые он подписывал именем Филлобиус, и призывали нас отправиться туда или сюда на экскурсию к редкому цветку, как раз расцветшему. Тогда мы дога-

дывались, что он хотел в определённый час отправить нас подальше от дома, и действовали согласно его совету. Он, видимо, выбрал такую форму, потому что узнавал многое из делающегося под секретом.

Мы также обратили внимание, что его курьеры, не найдя нас в ските, передавали нам письмо через Эрио, а не через Лампузу.

15

Когда огонь уничтожения на мраморных утёсах разгорался сильнее, в нас оживали воспоминания о наших мавританских временах и мы обдумывали выход из ситуации насилия. Власти в Лагуне ещё настолько уравнивали друг друга, что даже незначительные силы могли дать перевес, поэтому пока клановые союзы боролись друг с другом, а Биденхорн со своими наёмниками вёл себя двусмысленно, Старший лесничий располагал незначительным персоналом.

Мы задумали было устроить ночью с Беловаром и его кланом охоту на охотников и

каждого, кто угодит в наши сети, растерзанным вешать на перекрёстке, чтобы заговорить с подлецами из лесных деревень на том языке, который они только и понимают. Услышав о таких планах, старик пришёл в радостное возбуждение, принялся играть в ножах широким кинжалом и настаивать, чтобы мы заострили зубья капканов и что участникам гона следует-де голодать до тех пор, пока нюх на кровь не заставит их свесить красные языки до земли. Тут-то и мы почувствовали, что власть инстинкта как молния пронизала нашу плоть.

Но обсуждая в кабинете с гербариями или в библиотеке ситуацию более основательно, мы всё твёрже приходили к решению сопротивляться только духовной силой. После Альта Планы мы, кажется, поняли, что есть оружие, которое сильнее режущего и колющего, но иногда мы, как дети, возвращались в прежний мир, где царит ужас. Мы ещё не знали всего могущества, данного человеку.

В этом отношении общение с отцом Лампросом имело для нас высшую ценность. Мы,

пожалуй, решились бы действовать по велению собственного сердца, то есть с тем настроением, с каким мы вернулись в Лагуну; но при таких изменившихся обстоятельствах нам потребовалась помощь кого-то другого. Близость хорошего учителя даёт нам то, чего мы, в сущности, хотим, и она позволяет нам оставаться самими собой. Благородный пример потому живёт в глубине нашего сердца, что по нему мы догадываемся, на что сами способны.

Теперь для нас в Лагуне настало странное время. Пока злодеяния в стране разрастались, точно грибковое сплетение в гнилой древесине, мы всё глубже погружались в мистику цветов, и их чашечки казались нам крупней и лучистей, чем обычно. Но прежде всего мы продолжали свои работы над языком, ибо распознали в слове волшебный клинок, перед лучом которого власть тиранов бледнеет. Триедины слово, свобода и дух.

Я могу, пожалуй, сказать, что усилия наши не проходили даром. Иногда поутру мы просыпались в большом веселье и ощу-

щали на языке приятный вкус, какой бывает у человека в состоянии отменного здоровья. Тогда нам нетрудно было называть вещи, и мы двигались в Рутовом скиту, словно в некоем помещении, где были магнетически заряженные камеры. В лёгком опьянении и с чуть кружащейся головой мы расхаживали по комнатам и по саду, время от времени кладя на камин маленькие листки.

В такие дни мы при предельной высоте солнца наведывались на острый выступ мраморных утёсов. Змеиной тропой мы проходили через красные иероглифы ланцетных гадюк и поднимались по ступеням скальной лестницы, которые на свету ярко сверкали. С самого высокого гребня утёсов, который в полдень ослепительно лучился вдаль, мы долго смотрели на страну, и наши взоры старались разглядеть своё благо в каждой складке, в каждой меже. Тогда у нас точно пелена с глаз спадала, и мы понимали, как живут вещи в стихотворениях, в сиянии своей несокрушимости.

И нас радостно охватывало знание того, что уничтожение не находит приюта в эле-

ментах и что обман его клубится на поверхности подобно туманным картинам, которым не устоять перед солнцем. И мы догадывались: если мы жили в тех кельях, которые неразрушимы, то из каждой фазы уничтожения мы, как через открытые ворота, как бы переходим из одной праздничной комнаты в ещё более сияющую.

Часто, когда мы стояли на вершине мраморных утёсов, мой брат Ото высказывал мнение, что смысл жизни — повторять в переходящем творение, как ребёнок повторяет в игре труд отца. В этом смысл семени и зачатия, строительства и порядка, картины и поэзии, что в них, как в зеркалах из пёстро-го стекла, которое очень быстро разбивается, даёт о себе знать великий труд.

I6

Мы охотно вспоминаем о своих величественных днях. Но нам не следует обходить молчанием также и те, когда власть над нами захватывало низкое. В часы нашей слабости уничтожение предстаёт нам в ужасном виде, как те картины, какие видишь в храмах богов мести.

Иногда день для нас начинался с хмурого утра, мы с каким-то страхом расхаживали по Рутовому скиту и предавались безотрадным размышлениям в кабинете с гербариями и в библиотеке. Тогда мы, как правило, накрепко запирали ящики и при свете читали

пожелтелые страницы и рукописи, написанные нами в одной из прежних поездок. Мы просматривали старые письма и для утешения раскрывали проверенные книги, в сердцах которых хранилось для нас тепло, тлеющее уже много столетий. Так зной большого лета Земли продолжает жить в тёмных угольных жилах.

В такие дни, когда господствовал сплин, мы закрывали и двери, ведущие в сад, ибо свежий аромат цветов был для нас слишком обжигающим. Вечером мы посылали Эрию в скальную кухню, чтобы Лампуза наполнила для нас кувшин вина, разлитого в год Кометы.

И потом, сидя перед камином, где огонь поедал виноградные черенки, мы по обычаю, усвоенному нами в Британии, ставили на стол ароматные амфоры. Как правило, мы собирали для этого лепестки, которые приносили времена года, и, предварительно высушив, запрессовывали их в широкие, пузатые сосуды. Когда в зимнюю пору мы поднимали крышки кувшинов, пёстрый флёр этих лепестков был уже давно поблекшим и выцвёл до

оттенка пожелтевшего шёлка и бледно-пурпурной ткани. И всё же из этой цветочной отавы, подобно воспоминанию о грядках резеды и розовых садах, поднимался приглушённый, чудесный аромат.

В эти хмурые праздники мы зажигали тяжёлые свечи из пчелиного воска. Они остались ещё от прощального дара провансальского рыцаря Деодата¹, который давным-давно пал в диком Тавре. При их свете мы вспоминали этого благородного друга и те вечерние часы, когда на Родосе мы болтали с ним на высокой кольцевой стене, меж тем как солнце на безоблачном небе опускалось в Эгейское море. С его заходом из галерной гавани в город проникало лёгкое дуновение воздуха. Тогда сладкое благоухание роз смешивалось с духом инжирных деревьев, и в морской бриз вплавлялась эссенция далёких лесных и травяных склонов. Но прежде всего

1 Это имя через роман Р.М. Рильке «Записки Мальте Лауридса Бригге» отсылает нас к средневековому рыцарю Деодату де Гозону, который был наказан за то, что вопреки запрету убил дракона.

изо рвов, на дне которых жёлтыми коврами цвела ромашка, поднимался густой, превосходный запах.

С ним взлетали последние, отяжелённые мёдом пчёлы и через пазы в стенах и бойницы зубцов устремлялись к ульям в маленьких садах. Их пьяное жужжание, когда мы стояли на бастионе Porta d'Amboise, так часто забавляло нас, что при расставании Деодат дал нам в дорогу кладь их воска — «чтобы вы не забывали золотые зуммеры острова роз». И действительно, когда мы зажигали свечи, от фитилей их начинал струиться нежный, сухой аромат пряностей и цветов, какие цветут в садах сарацинов¹.

Так мы осушали бокал за старых и далеких друзей и за страны этого мира. Ведь всех нас охватывает страх, когда веет дуновением смерти. Тогда мы едим и пьём в размышлении, как долго будет ещё для нас оставаться место за этим столом. Ибо Земля прекрасна.

1 См. произведение Э. Юнгера «У сарациновой башни» («Am Sarazinenturm», 1955).

Наряду с этим нас угнетала мысль, которая знакома всем, кто творит на поприще духа. Мы не один год провели за изучением растений и при этом не берегли ни масла, ни усилий. Также охотно мы отказались от доли отцовского наследства. Теперь нам в руки упали первые зрелые плоды. Потом здесь были письма, рукописи, тетради с записями научных наблюдений и гербарии, дневники военных лет и путевые заметки, но особенно материалы по языку, которые мы собрали из многих тысяч камешков и мозаика которых уже широко разрослась. Из этих манускриптов мы пока издали только немного, ибо брат Ото считал, что музицировать перед глухими — пустое занятие. Мы жили во времена, когда автор приговорён к одиночеству. И тем не менее при таком положении вещей мы охотно увидели бы кое-что напечатанным — и не ради посмертной славы, которая относится к таким же формам иллюзии, как и мгновение, а потому что в изданном тексте заключается печать завершённости и неиз-

меняемости, виду чего радуется и одинокий. Мы продвигаемся лучше, если наши дела в порядке.

Тревожась о наших листах, мы часто вспоминали ясное спокойствие Филлобиуса. Ведь мы жили в мире совсем по-другому. Нам казалось слишком тяжело расстаться с трудами, с которыми мы много работали и основательно срослись. Впрочем, для утешения у нас было зеркало Нигромонтана¹, от вида которого мы, оказавшись в таком настроении, всегда просветлялись. Оно досталось мне по наследству от моего старого учителя и обладало тем свойством, что солнечные лучи в нём фокусировались до испепеляющего огня. Предметы, сжигаемые таким жаром, переходили в непреходящее тем способом, который, по мнению Нигромонтана, лучше всего сравним с чистым дистиллятом. Он выучился этому искусству в дальневосточных монастырях, где мёртвым сокровища их сжигаются

1 Или: Нигромонтанус — персонаж нескольких произведений автора, противопоставляемый «мавританцам».

для вечного сопровождения. Точно так же он полагал, что всё, что воспламенялось с помощью этого зеркала, сохранялось в незримом гораздо надёжнее, чем за бронированными дверями. Благодаря пламени, не дававшему ни дыма, ни низкой красноты, оно переводилось в царства, лежащие по ту сторону разрушения. Нигромонтан называл это безопасностью в ничто, и мы решили прибегнуть к ней, когда настанет час уничтожения.

Поэтому мы ценили зеркало как некий ключ, ведущий к высоким палатам, и в такие вечера осторожно открывали синий футляр, в котором лежало оно, чтобы порадоваться его мерцанию. Тогда в свете свечей сверкал его диск из светлого горного хрусталя, охваченный кольцом из электрона¹. В этой оправе Нигромонтан выгравировал солнечными рунами изречение, достойное его смелости:

И если суждено Земле взорваться,
Мы в белый жар и пламя обратимся.

1 Имеется в виду магниевый сплав.

На обратной стороне буквами языка пали были очень мелко нацарапаны имена трёх царских вдов, которые при погребальной церемонии с пением взошли на костёр, после чего тот с помощью этого зеркала поджигался рукой брахмана.

Рядом с зеркалом лежала ещё маленькая лампа, тоже вырезанная из горного хрусталя и снабжённая знаком Весты. Она предназначалась сохранять силу огня для часов афелия¹ или для тех мгновений, когда требовалась поспешность. Этой лампой, а не факелами, зажигался также костёр во время Олимпиады, когда Peregrinus Proteus², назвавший себя

- 1 Афелий — наибольшая удалённость небесного тела от Солнца (*астроном.*). Земля в своём годичном движении вокруг Солнца проходит афелий в начале июля.
- 2 Этот персонаж встречается в европейской литературе, например у Хр. М. Виланда (1733–1813) есть роман «Перегринус Протеус». Следует также обратить внимание на слова Клауса Шиллинга в его работе «О Евангелии Иуды»: «Латинский эквивалент слова Ἀλλογενής — Peregrinus, и сатирическое сочинение Лукиана, описывающее конец некоего христианского еретика (может быть, Маркиона?), озаглавлено «Proteus Peregrinus». Само понятие широко представлено в гностической мысли и означает, что гностики чужды миру, а их родной дом трансцендентен и непостижим для мирского понимания».

потом Фениксом, на виду у огромной толпы прыгнул в открытый огонь, чтобы соединиться с эфиром. Мир знает этого человека и его высокий поступок только благодаря лживо искажённому изображению Лукиана¹.

В каждом хорошем оружии заложена волшебная сила; мы чувствуем себя чудесно укреплёнными уже от вида его. Это справедливо и для зеркала Нигромонтана; его блеск предсказывал нам, что мы погибнем не полностью, более того, что лучшее в нас недоступно грубому насилию. Так неприступно покоятся наши высокие силы, точно в орлиных замках из хрусталя.

Отец Лампрос, правда, улыбался по этому поводу и высказал мнение, что и для духа есть саркофаги. Час уничтожения, однако, должен стать часом жизни. Это мог говорить священник, который чувствовал себя замороженным смертью, точно дальними водо-

1 Лукиан «О смерти Перегрины»; по-русски: «Апулей. Лукиан», изд-во НФ «Пушкинская библиотека», М. 2005; пер. Н. Баранова.

падами, в лентах брызг которых встают солнечные арки. А мы были наполнены жизнью и чувствовали себя очень нуждающимися в знаках, которые может распознать и телесный глаз. Нам, смертным, единственный и незримый свет расцветает лишь в многообразии красок.

I7

Мы обратили внимание, что те дни, когда нас охватывал сплин, были туманными, и край утрачивал своё ясное лицо. Из лесов, как из скверных кухонь, тянуло тогда густым чадом, и облака его, вздымаясь, широкими пластами накатывали на Кампанью. Они скапливались на мраморных утёсах, и при восходе солнца ленивые потоки их начинали сползать вниз в долину, которая вскоре по самые шпили собора исчезала в белой мгле. При такой погоде мы чувствовали себя лишёнными зрительной силы и ощущали, что беда, будто под плотной накидкой, прокрадывается в страну. В таких

случаях мы поступали правильно, проводя день в доме при свете и за бокалом вина; и всё же нас нередко тянуло выйти. Ибо нам казалось, что снаружи не только орудуют «огненные черви», но одновременно и вся страна меняет форму — как будто её реальность уменьшается.

Поэтому мы и в туманные дни часто решали отправиться на экскурсию и тогда первым делом посещали пастбищные угодья. Целью наших поисков всегда была одна совершенно обыкновенная травка; мы пытались, если можно так выразиться, в хаосе придерживаться чудесного труда Линнея, составляющего одну из опорных башен, с которых дух обзревает зоны дикой растительности. В этом смысле какое-нибудь маленькое растение, которое мы приносили, часто дарило нам неожиданно много.

К этому примешивалось и кое-что другое, что я мог бы назвать разновидностью стыда — то есть мы не рассматривали лесную шайку в качестве противников. По этой причине мы всегда помнили о том, что были на охоте за

растениями, а не в бою, и всячески избегали низкой злобы, как уклоняются от болот и диких зверей. Мы не признавали за народом лемунов свободы воли. Такие силы никогда не могут хоть в чём-то предписывать нам закон, чтобы мы упустили из виду истину.

В такие дни лестничные ступени, ведущие на мраморные утёсы, были влажны от тумана, и холодные ветры разбрасывали по ним облака чада. Хотя на пастбищных долах многое изменялось, нам всё же были хорошо знакомы старые тропы. Они вели через развалины богатых хуторов, от которых несло теперь холодным запахом гари. В обрушившихся хлевах мы видели отбеленные кости скота, с копытами, рогами и ещё с цепью на шее. Во внутреннем дворе валялась домашняя утварь, выброшенная из окон «огненными червями» и потом разграбленная. Там между стулом и столом лежала разбитая колыбель, а вокруг неё зеленела крапива. Лишь изредка мы наталкивались на разрозненные группы пастухов; они вели жалкие остатки скотины. Оттрупов, гнивших на пастбищах, вспыхивали

эпизоотии и приводили к высокой смертности в стадах. Так гибель порядка никому не приносит блага.

Через час мы натыкались на хутор старого Беловара, чуть ли не единственный, который напоминал о старых временах, поскольку он, богатый скотом и невредимый, лежал перед нами в венке зелёных лугов. Причина такого положения заключалась в том, что Беловар был одновременно свободным пастухом и главой клана и что с начала беспорядков он оберегал своё добро от всякого бродячего сброда, так что с давних пор ни один охотник или «огненный червь» не осмеливался даже близко подойти к хутору. Пришибая кого-то из этой братии в поле и кустах, он считал это своим добрым деянием и по этой причине даже не вырезал на рукоятке кинжала новую насечку. Он строго следил за тем, чтобы весь скот, околевавший на его угодьях, был глубоко закопан и посыпан известью, дабы не распространялось зловоние. Так выходило, что к нему идёшь через большие стада рыжего и пестро-пятнистого крупного рогатого скота

и что его дом и сараи видны уже издалека. Маленькие боги, охранявшие границы его владений, тоже всегда смеялись навстречу нам в блеске свежих пожертвований.

На войне внешний форт иногда остаётся стоять невредимым, тогда как крепость давно уже пала. Таким образом, хутор старика служил нам опорным пунктом. Мы могли спокойно передохнуть и поболтать с ним, пока Милина, его молодая бабёнка, готовила нам на кухне вино с шафраном и жарила пирожки в казане с маслом. У старика была ещё жива мать, которой было уже под сто лет, и она тем не менее прямая, как свеча, расхаживала по двору и дому. Мы охотно разговаривали с доброй матушкой, поскольку она была сведущей в травах и знала заговоры, сила которых заставляла кровь свёртываться. Прощаясь, мы позволяли ей притронуться к нам рукой, прежде чем идти дальше.

В большинстве случаев старик хотел сопровождать нас, но мы очень неохотно брали его с собой. Казалось, его присутствие притягивает на нашу шею шайки из лесных деревень, как двигаются собаки, когда вдоль

общинных угодий рыскает волк. Это, возможно, было по душе старику; но перед нами там стояла иная задача. Мы шли без оружия, без слуг и надевали лёгкие, серебристо-серые накидки, чтобы в тумане быть незаметнее. Потом через болота и заросшую камышом территорию мы, осторожно ступая, продвигались на «рога» и опушку леса.

Покинув луговую долину, мы очень скоро замечали, что насилие теперь было ближе и интенсивнее. В кустах клубились туманы, и на ветру шуршали заросли тростника. Даже почва, по которой мы двигались, представлялась нам чуждой и неведомой. Но опаснее всего было то, что терялась память. Тогда край становился совершенно обманчивым и неопределённым, а равнины — похожими на увиденные во сне. Встречались, правда, места, которые мы с уверенностью узнавали, но тут же рядом, как острова, поднимающиеся из моря, вырастали новые, загадочные участки. Требовалась вся наша сила, чтобы создать здесь точную и верную топографию. Поэтому мы правильно поступали, избегая приключений, до которых был так охоч старый Беловар.

Так мы нередко много часов шли по болоту и плавням. И если я не описываю подробностей этой дороги, то лишь потому, что мы занимались вещами, лежащими за пределами языка, а значит, не подчиняющимися чарам, производимым словами. Между тем каждый помнит, что его дух, будь то грёзы или глубокое чувство, продолжает напряжённо трудиться в регионах, которые он не может изобразить. Было такое состояние, будто он пытается на ощупь сориентироваться в лабиринтах или увидеть рисунки, заключённые в картинке-загадке. И иногда он просыпался чудесно укреплённым. В подобном совершается наша лучшая работа. Нам казалось, что в борьбе нам уже даже языка недостаточно, но, чтобы преодолеть опасность, мы должны были проникнуть в самую глубину сновидения.

И действительно, когда мы одиноко стояли на болоте среди тростниковых зарослей, затея часто захватывала нас как тонкая игра со встречными ходами. Тогда туманы вскипали сильнее, но и внутри у нас одновременно, казалось, нарастала сила, созидаящая порядок.

18

Между тем во время любого из этих походов мы не выпускали из виду цветы. Они давали нам направление, как компас указывает дорогу по неизвестным морям. Так было и в тот день, когда мы проникли во внутреннюю часть Филлерхорна, который позднее вспоминался нам только с ужасом.

Утром, увидев клубящиеся из лесов до самых мраморных утёсов туманы, мы решили разыскать Красную лесную птичку и, после того как Лампуза приготовила нам завтрак, отправились в путь. Красная лесная птичка — это цветок, который отдельно вырастает

в лесах и чащобах, и носит название Rubra¹, данное ему Линнеем, в отличие от двух бледных разновидностей, только он цветёт реже их. Поскольку это растение любит такие места, на которых чащи редуют, брат Ото предположил, что искать его следует, вероятно, лучше всего у Кёппельсблеека². Так пастухи называли старую сплошную лесосеку, которая должна была находиться в том районе, где опушка леса впадает в серп Филлерхорна, и которая пользовалась дурной славой.

В полдень мы были у старого Беловара, но, поскольку чувствовали необходимость набраться побольше духовной силы, не стали ничего есть. Мы облачились в серебристо-серые накидки, и, когда добровольно позволили доброй матушке нас ощупать, старик спокойно отпустил нас.

1 Красная (лат.).

2 Позднее Э. Юнгер напишет в «Излучениях» «/.../ Кёппельсблеек представляет собой один из госларских микропонимов и обозначает место, на котором заплечных дел мастер оставлял отбеливаться головы, а стало быть, живодёрню. Оно относится к географической карте приморья: к «Филлерхорну», площадке, на которой обрабатывается шкура» («Хижина в винограднике», запись от 8 мая 1945 г.).

Сразу за границей его владений начался сплошной дрейф тумана, стирающего все формы и вскоре заставившего нас совершенно сбиться с дороги. Мы по кругу блуждали в болоте и вересковой пустоши, иногда останавливаясь среди групп старых вязов или у мутных трясин, на которых росли высокие ситники.

Глухая местность в этот день казалась более оживлённой, поскольку мы слышали крики в тумане, полагая, что узнаём фигуры, которые невдалеке скользили мимо в мареве, не замечая нас.

В этой суеде мы определённо сбились бы с дороги на Филлерхорн, не ориентируясь мы по росянке. Мы знали, что эта травка заселяет влажный пояс, охватывающий лес, и следовали за узором её ярко-зелёных и красных волосистых листочков, как по кромке ковра. Таким образом мы достигли трёх высоких тополей, которые в ясную погоду обычно, как острия копий, издалека обозначают вершину Филлерхорна. От этой точки мы ощупью продвинулись по лезвию серпа

до опушки леса и там проникли в широкий простор Филлерхорна.

Пробившись через густую кромку тёрна и кизила, мы вступили в высокоствольный лес, в зарослях которого никогда не раздавался удар топора. Древние стволы, являвшиеся гордостью Старшего лесничего, высились во влажном блеске, точно колонны, капители которых скрывает дымка. Мы шагали под ними как просторным вестибюлем, и, подобно волшебному творению на некой сцене, к нам из невидимого свисали усики плюща и цветки клематиса. Почва была покрыта толстым слоем древесной трухи и гнилых сучьев, на коре которых поселились грибы, жгуче-красные пецицы, так что нас постепенно охватывало ощущение ныряльщиков, пробирающихся по коралловым садам. Там, где один из этих гигантских стволов упал от старости или был повержен молнией, мы выходили на маленькие поляны, где густыми пучками стояла жёлтая наперстянка. На гнилой почве буйно разрослись также кустики бешеной вишни, на веточках которой, как погребальные ко-

локола, качались коричнево-фиолетовые чашечки цветов.

Воздух был спокойным и давящим, но мы вспугивали разнообразных птиц. Мы слышали тонкое щебетание вьюрка, с которым он прыгал по лиственницам, а также предупреждающие крики, какими прерывает свою песенку испуганный дрозд. Хихикая, в полом стволе ольхи укрылась вертишейка, а в кронах дубов нас перепархивающим смехом сопровождали иволги. Мы также слышали вдали увлеченное воркование голубей и постукивание дятлов по мёртвой древесине.

Осторожно, и часто останавливаясь, мы взбирались по пологому холму, пока брат Ото, шедший чуть впереди, не крикнул мне, что раскорчеванный участок-де уже совсем близко. В это мгновение я увидел мерцающую в сумерках Красную лесную птичку, которую мы и искали, и радостно поспешил к ней. Цветочек делал честь своему названию, ибо действительно походил на маленькую птичку, скрытно свившую гнездо в медно-коричневой листве бука. Я увидел узкие листочки

и пурпурные цветы с бледным окончанием медовой губы, благодаря которой она и выделяется. Исследователя, поражённого зрелищем маленького растения или зверя, охватывает такое счастливое чувство, как будто природа щедро одарила его. При таких находках я имел обыкновение, прежде чем коснуться их, окликать брата Ото, чтобы он разделил со мной радость, но едва я успел поднять на него взгляд, как услышал жалобный вскрик, заставивший меня содрогнуться. Так после глубоких ранений, нанесённых нам, медленно вытекает из груди дыхание жизни. Я увидел, что он как зачарованный стоит почти на вершине холма, и когда я поспешил к нему, он поднял руку и направил мой взгляд. И тут я почувствовал, будто сердце моё сжали когти, ибо передо мной, распластавшись в полном своём бесстыдстве, лежало место расправы.

19

Мы стояли за невысоким кустом с огненно-красными ягодами и смотрели вниз на раскорчёванный участок Кёппельсблеека. Погода переменилась, ибо мы не увидели и следа от клубов тумана, сопровождавших нас от самых мраморных утёсов. Предметы выступали совершенно отчётливо, как в центре урагана, в спокойном и неподвижном воздухе. Птичьи голоса теперь тоже смолкли, и только время от времени на опушке тёмного леса вскрикивала, как свойственно этой братии, кукушка. То вблизи, то издали мы слышали её насмешливый и вопрошающий смех, выводящий ку-ку,

ку-ку, и потом, торжествуя, заливающийся так, что у нас мурашки пробежали по телу.

Раскорчёванный участок был покрыт увядшей травой, которая только на заднем плане уступала место серой волчанке, какую встречаешь на мусорных свалках. На фоне этой высохшей растительности странно свежо выделялись два высоких куста, которые на первый взгляд мы приняли за лавр, однако листья в жёлтую крапинку были похожи на виденные в мясных лавках. Они росли по обе стороны старого сарая, с воротами нараспашку стоявшего на раскорчёванном участке. Свет, который его освещал, был, правда, не солнечным, а ярким и без тени, он очень резко подчёркивал выкрашенную в белую краску постройку. Каменные стены были разделены чёрными балками фахверка, стоявшими на трёх основаниях, а над ними остро поднималась серая крыша из кровельной драни. К ним были прислонены также жерди и крюки.

Над тёмными воротами на поле фронтона был укреплён череп, в бледном свете скаливший зубы и, казалось, с ухмылкой приглашав-

ший войти. Как цепочка заканчивается драгоценностью, так им завершался узкий фриз фронтона, как будто образованного из коричневых пауков. Но мы тотчас же догадались, что он был сделан из кистей человеческих рук, прикреплённых к стене. Мы видели это так отчётливо, что различили маленький деревянный гвоздь, вбитый в ладонь каждой.

На деревьях, обрамлявших выкорчеванный участок, тоже белели мёртвые головы, некоторые — в глазницах их уже вырос мох — словно с мрачной улыбкой взирали на нас. Стояла мёртвая тишина, за исключением безумного танца, с каким кукушка скакала вокруг места для отбеливания черепов. Я услышал, как брат Ото, словно в полусне, прошептал:

«Да, это — Кёппельсблеек».

Внутренняя часть сарая лежала почти в темноте, и мы разглядели только у самого входа скамью живодёра с растянутой на ней кожей. В мрачной глубине за нею мерцали ещё бледные, пористые массы. Мы видели, как в сарай к ним точно в улей летели рои голубовато-серых и золотистых мух. Потом на

площадку упала тень крупной птицы. Её отбрасывал коршун, который с пилообразными крыльями обрушился на поле волчанок. Только увидев его по красную шею медленно клюющим из рыхлой земли, мы поняли, что там мотыгой орудовал какой-то человек, и что птица сопровождала его работу, как ворон следует за плугом.

Вот человек положил мотыгу и, насвистывая песенку, зашагал к сараю. На нём была серая куртка, и мы видели, как он потирал руки, словно после праведного труда. Войдя в сарай, он принялся стучать и скрести на живодёрской лавке, продолжая при этом с лемурной весёлостью насвистывать свою песню. Потом мы слышали, как, точно аккомпанируя ему, ветер прошёлся по ельнику, так что бледные черепа на деревьях хором загромыхали. В его порывы примешивались позвякивание качающихся крюков и постукивание сухих рук на стене сарая. Звук был деревянным и костяным, как в театре марионеток в царстве смерти. Одновременно с ветром принесло стойкий, тяжёлый и сладковатый запах

разложения, заставивший нас содрогнуться до мозга костей. Мы почувствовали, как мелодия жизни внутри нас зазвучала самой мрачной, самой низкой струной¹.

Позднее мы не могли сказать, как долго рассматривали это видение — вероятно, не дольше мгновения. Потом, словно очнувшись, мы взяли себя в руки и бросились обратно в высокоствольный лес Филлерхорна под издевательский крик кукушки. Отныне мы знали дьявольскую кухню, из которой над Лагуной тянулись туманы, — поскольку мы не хотели

- 1 Позднее Э. Ю. снова коснулся этой темы в эссе «Филемон и Бавкида. Смерть в мифическом и техническом мире»: «Вероятно, я всё-таки слишком мягко изобразил живодёрню. Там убивают не так, как убивал Каин, — в гневе, и не из удовольствия, а скорее по науке. Публичности избегают, но, несмотря на это, мысль не спит. Об этом говорит техничность процесса» (Philemon und Baucis (1972), SW, Bd. 12, стр. 470). В этой связи немецкий критик П. Козловски замечает: «В своей трактовке модерна Юнгер не закрывает глаза на то, что характерной чертой модерна является масштабное, налаженное умерщвление с помощью рациональных механизмов; что тотальная мобилизация умерщвления стала возможной только благодаря нигилизму модерна. Нигилистический модернизм смог осуществить тотальное убийство — умерщвление лишь после того, как он перестал считаться со всем, что составляет божественное право. Только тотальное присвоение героем модерна всех полномочий и мобилизация нигилизма сделали возможным упорядоченное убийство» (Петер Козловски, «Миф о модерне», М. изд. «Республика», 2002, стр. 137, пер. М.Б. Корчагиной).

отступать, старик показал нам её немного отчётливее. Это и есть те подвалы, над которыми возвышаются гордые замки тирании, а ещё выше видно, как клубятся благоухания их праздников: смрадные логовища ужасного сорта, в них навечно отвергнутый сброд жутко наслаждается поруганием человеческого достоинства и человеческой свободы. Тогда замолкают музы и истина начинает мерцать как затухающий светильник на злом ветру. Тут видишь, как слабые отступают, едва лишь забурлят первые туманы, даже военная каста начинает робеть, когда видит лезущую на бастионы из низин шайку страшилищ. Так получается, что военная храбрость на этом свете стоит во втором эшелоне; и только высшие, которые живут с нами, проникают в самую обитель ужаса. Ибо они знают, что все эти картины живут лишь в нашем сердце, и, словно сквозь представленные отражения, проходят сквозь них в гордые врата победы. Тогда они просто великолепно возносятся страшилищами в своей реальности.

Однако нас пляска смерти на Кёппельсблее испугала до глубины души, и мы, дрожа,

стояли в глубине леса и прислушивались к крику кукушки. Но тут нас начал охватывать стыд, и брат Ото предложил сейчас же ещё раз возвратиться к раскорчёванному участку, потому что Красная лесная птичка осталась невнесённой в книгу находок. Мы имели обыкновение прямо на месте вести дневник обо всех находках растений, поскольку знали, что в памяти у нас многое стирается. Таким образом, мы, пожалуй, могли бы сказать, что наша «*Florula Marinae*»¹ возникала в поле.

Мы, стало быть, не обращая внимания на крик кукушки, снова пробрались на невысокий холм и отыскивали в листве растеньице. Ещё раз хорошо разглядев его, брат Ото вынул шпателем корневище. Потом мы циркулем обмерили траву во всех её частях и с датой внесли в нашу книжицу также подробности местонахождения.

Странно, что когда мы, люди, действуя в рамках назначенного нам призвания, занимаем пост, — нас тогда охватывает сильное чувство неуязвимости. Мы переживали это

1 Здесь: «Растительность Лагуны» (лат.).

уже на поле брани, где воин, когда близость смерти грозит изнурить его, охотно посвящает себя обязанностям, предписанным его положением. Аналогичным образом и наука очень часто нас укрепляла. Во взоре, который обращается к вещам ради их познания и без низкого ослепления, заключена великая сила. Он особенным образом питается созиданием, и только в этом заключена власть науки. Так мы чувствовали, как даже слабый цветочек своей формой и внешним видом, которые неувядаемы, даёт нам твёрдость сопротивляться дыханию разложения.

Когда мы потом шагали среди высоких деревьев к лесной опушке, выглянуло солнце, каким иногда ещё видишь его незадолго до заката в туманные дни. В ажурных кронах гигантских деревьев вилоь золотое сияние, и золотым был блеск мха, на который ступала наша нога. Крики кукушки сейчас давно смолкли, но в самых высоких, суховершинных ветках были незримо вскормлены соловьи, превосходные певцы, чьи голоса задушевно пронизывали прохладную влажную листву.

Потом с зелёным мерцанием, как из гротов, поднялся вечер. От усиков жимолости, свисающих сверху, заструился сильный аромат, и пёстрые бражники с жужжанием поднялись до её жёлтых, похожих на рупор, цветов. Мы видели, как они, слегка подрагивая и потеврявшись в мечте сладострастия, висят перед губами вытянутых вверх чашечек, потом они, вибрируя, запускали в сладкое дно тонкий и слегка изогнутый хоботок.

Когда мы покидали Филлерхорн у трёх тополей, бледный серп луны начал уже окрашиваться в золото, а на небосводе выступили звёзды. В камышовых зарослях мы столкнулись со старым Беловаром, который со своими слугами и егерями пошёл по нашим следам. Старик рассмеялся, когда потом за чаркой шафранового вина мы показали ему красный цветок, добытый нами в Кёппельсблееке; но мы молчали и, прощаясь, попросили его быть начеку на своём прекрасном и невредимом хуторе.

20

Есть опыт, побуждающий нас перепроверить всё заново, и к нему относилось для нас знакомство с хижинкой живодеёра у Кёппельсблека. Сначала мы решили навестить отца Лампроса, но, прежде чем мы добрались до монастыря Фальциферы, нас коснулся злой рок.

На следующий день мы перебирали в кабинете с гербариями и в библиотеке длинные рукописи и уже многое предали огню. Теперь мы осознали близость опасности. Потом с наступлением темноты я ещё немного посидел в саду на перилах террасы, чтобы порадоваться аромату цветов. Клумбы ещё хранили

солнечное тепло, но от береговых трав уже поднималась первая прохлада, ослабляющая запах пыли. Потом с мраморных утёсов в сады Рутового скита каскадами полился едва заметный запах лунников и цветов ночнос-вечника. И, как есть благоухания, которые опускаются, и другие, восходящие вверх, так сквозь эти тяжёлые волны от земли проникал какой-то более лёгкий и тонкий аромат.

Я пошёл на него и увидел, что в сумерках раскрылась большая золотистая лилия из Ципанго. Света ещё было достаточно, чтобы догадаться о её золотисто-пламенной полосе, а также о «тигрении»¹, которым была великолепно прорисована белая чашечка. На светлом дне её, подобно языку колокола, стоял пестик, вокруг которого образовывали круг шесть тычинок. Они были покрыты коричневой пудрой, словно тончайшим экстрактом опиума, мотыльки пока не успели облететь цветок, так что в центре их ещё светилась нежная складка. Я склонился над ними

1 «Тигрение» — частичное потемнение цветковой оболочки.

и увидел, что они дрожали своими фибрами, точно механизм курантов природы: подобно колокольному звону, который вместо звуков изливает мускатную эссенцию. Навсегда останется чудом, что эти нежные живые существа одухотворены такой интенсивной любовной силой.

Пока я так рассматривал лилии, внизу на винограднике сверкнул тонкий голубой луч света и, блуждая, двинулся по холму с лозами. Потом я услышал, как у ворот Рутового скита остановилась машина. Хотя мы не ждали гостей, я из-за ланцетных гадюк поспешил вниз к воротам и увидел там большую машину, которая тихо гудела, как насекомое, зудящее почти неслышно. Она был тех цветов, право на которые оставила за собой высокая аристократия Новой Бургундии. Перед ней стояли двое мужчин, один из которых подал знак, каким мавританцы объясняются в темноте. Он назвал мне своё имя, Бракмар, которое я вспомнил, и потом представил мне другого, молодого князя фон Сунмира, высокого господина из новобургундского рода.

Я пригласил их войти в скит и, чтобы проводить, взял их за руки. При слабом сиянии мы втроём проследовали вверх по Змеиной тропе, и я заметил, что князь почти не обращает внимания на животных, тогда как Бракмар с насмешкой, но очень тщательно избегает их.

Мы прошли в библиотеку, где застали брата Ото, и пока Лампуза готовила вино и булочки, мы завели разговор с нашими гостями. Бракмара мы знали ещё по прежним временам, хотя видели его лишь вскользь, поскольку он часто уезжал в путешествия. Это был невысокий, темноволосый, поджарый малый, которого мы находили несколько жёстким, но, как все мавританцы, не лишённым ума. Он относился к тому типу людей, которых мы в шутку называли охотниками на тигров, потому что их встречаешь преимущественно в ходе приключений, носящих экзотический характер. Он шёл навстречу опасности, как в спорте поднимаются на изобилующие обрывами массивы; равнины были ему ненавистны. Он обладал крепким сердцем, которое

не страшится преград; но к этой добродетели, к сожалению, добавлялось презрение. Как все энтузиасты власти и превосходства, он переносил свои буйные мечты в царства утопии. Он придерживался мнения, что на Земле изначально существовало две расы, раса господ и слуг, и что с течением времени они перемешались между собой. В этом отношении он был учеником Старого Запальщика и, как тот, требовал нового разобщения. И, как каждый грубый теоретик, он соответственно духу времени жил в науке и особенно занимался археологией. Он недостаточно тонко мыслил, чтобы догадаться, что наша лопата безошибочно находит все вещи, которые живут у нас в помыслах, и в результате, как уже многие до него, будто бы открыл место происхождения рода человеческого. Мы вместе были на заседании, где он делал доклад о своих раскопках, и слышали, что в одной отдалённой пустыне он наткнулся на причудливое горное плато. Там на большой равнине высились высокие порфирные цоколи — выветривание их пощадило, и они стояли на земле, как бастионы

или скальные острова. Бракмар забрался на них и обнаружил на плоскогорье развалины княжеских замков и храмов Солнца, возраст которых он обозначил как довременный. Описав их размеры и своеобразие, он живописно воскресил страну. Он показал тучные зелёные пастбищные доли, на которых, насколько хватало глазу, жили пастухи и земледельцы со своими стадами, а над ними на порфирных башнях в красном великолепии — орлиные гнёзда исконных повелителей этого мира. Он также изобразил, как по нынче давно иссякшему потоку вниз идут корабли с пурпурными палубами; так и увиделось, как сотни вёсел с насекомообразной ритмичностью погружаются в воду, и был слышен звук литавр и бича, опускающегося на спину злополучных галерных рабов. Это были картины для Бракмара. Он относился к категории конкретных мечтателей, которая крайне опасна.

В молодом князе, с отсутствующим видом сидевшем здесь, мы увидели человека совершенно иного свойства. Ему, должно быть, едва перевалило за двадцать, но печать тяжёлого

страдания, которую мы заметили на его лице, находилась в странном противоречии с этим возрастом. Несмотря на высокий рост, он сильно сутулился, как будто не мог совладать с ним. И он, казалось, не слушал, о чём мы беседовали. У меня сложилось впечатление, что в нём соединились преклонный возраст и крайняя молодость — возраст рода и личная молодость. В его облике ярко выразилось декадентство; в нём можно было заметить черту древнего потомственного величия, но также черту ему противоположную, какую Земля накладывает на всякое наследство, ибо наследство — это имущество умерших.

Я, пожалуй, ожидал, что в последней фазе борьбы за Лагуну на сцену выступит аристократия — ибо в благородных сердцах страдание народа пылает горячее всего. Когда чувство права и обычая исчезает и когда ужас помрачает разум, силы людей-однодневок очень быстро иссякают. Однако в древних родах живёт знание истинной и легитимной меры, и из них прорастают новые ростки справедливости. По этой причине у всех народов первенство

отдаётся благородной крови. И мне верилось, что однажды из замков и горных оплотов поднимутся вооружённые люди, как рыцарственные вожди в борьбе за свободу. Вместо этого я увидел этого раннего старика, который сам нуждался в защите и вид которого со всей очевидностью показал мне, как далеко уже зашёл упадок. И тем не менее казалось чудом, что этот утомлённый мечтатель чувствовал себя призванным предоставить защиту — так самые слабые и самые чистые взваливают на себя железные тяжести этого мира.

Я уже внизу у ворот догадался, что привело к нам эту пару с затемнёнными фарами, и мой брат Ото, похоже, тоже знал это ещё прежде, чем было произнесено первое слово. Потом Бракмар попросил нас описать ситуацию, которую брат Ото представил ему во всех подробностях. Вид, с каким Бракмар всё выслушал, позволял предположить, что он был превосходно осведомлён обо всех действиях и противодействиях. Ибо прояснение ситуации вплоть до мельчайших деталей является мастерством мавританцев. Он уже говорил

с Биденхорном, лишь отец Лампрос был ему незнаком.

Князь, напротив, застыл в согбенных грёзах. Даже упоминание Кёппельсблеека, испортившее настроение Бракмару, похоже, от него ускользнуло; только услышав об осквернении Eburnum'a, он гневно вскочил со стула. Потом ещё брат Ото в общих словах обрисовал наше мнение о положении дел и о том, как нам следует вести себя. Бракмар выслушал это хотя и вежливо, но с плохо скрытой усмешкой. У него на лбу было написано, что он видит в нас только тщедушных фантазёров и что его суждение уже сформировано. Так случаются ситуации, когда каждый считает мечтателем каждого.

На первый взгляд могло показаться странным, что в этой коллизии Бракмар хотел выступить против старика, хотя обоих в их стремлениях связывало много общего. Но здесь мы допускаем ошибку, которая нередко вкрадывается в наш образ мыслей, и состоит она в том, что при тождестве методов мы делаем заключение также и о тождестве

целей и о единстве воли, которая за этим стоит. Ибо различие было в том, что старик предполагал заселить Лагуну извергами, а Бракмар рассматривал её в качестве земли для рабов и для рабских армий. При этом всё в сущности вертелось вокруг одного из внутренних конфликтов среди мавританцев, описывать здесь который в подробностях не имеет смысла. Следует лишь указать, что между законченным нигилизмом и дикой анархией существует глубокий антагонизм. Речь в этой борьбе идёт о том, должно ли человеческое поселение быть превращено в пустыню или в дремучий лес¹.

- 1 Во «Втором парижском дневнике» Э. Юнгер пишет: «Нигилизм и анархия. Разница между ними столь же невелика, как между угрями и змеями, но её всё же необходимо учитывать для понимания непосредственной игры. Решающим здесь оказывается отношение к порядку, которого недостаёт анархисту, но отличает нигилиста. А посему нигилизм раскусить сложнее, он лучше замаскирован. Явным отличительным признаком является взаимоотношение с отцом: анархист его ненавидит, нигилист презирает. Таков Анри Брюлар в противоположность Петру Степановичу. Далее следуют различия в отношении к матери и, особенно, к Земле, которую анархист хочет превратить в болото и дремучий лес, а нигилист — в пустыню. Исследование следовало бы начать с выяснения теологической констелляции. Она обострит зрение — и тогда станут видны образы, спрятанные по ту сторону холста, за кулисами совре-

Что же касается Бракмара, то в нём были ярко выражены все черты позднего нигилизма. Ему присущ был холодный, лишённый корней интеллект, а также склонность к утопии. Он, как все ему подобные, воспринимал жизнь как некий часовой механизм, а в насилии и ужасе видел приводные колёсики жизненных часов. Одновременно он оперировал понятиями какой-то второй, искусственной природы, упивался ароматом поддельных цветов и наслаждениями разыгрываемой чувственности. Созидание в его груди было убито и восстановлено снова, как механизм курантов. На лбу его цвели ледяные цветы. При виде его, должно быть, вспоминали глубокое изречение его наставника: «Пустыня растёт — горе тому, кто скрывает пустыни!»

И тем не менее мы испытывали едва заметное расположение к Бракмару — не очень сильное потому, что у него было сердце, ибо

менной живописи. Она, прежде всего, оказалась бы полезной воинственной молодёжи. Молодой человек неминуемо проходит фазу анархии, в которой особенно легко становится жертвой абсолютного разрушения» (Strahlungen II, стр. 213; запись от 16 января 1944 г.).

по мере приближения человека к горным породам, заслуга, основывающаяся на мужестве, уменьшается. Это была скорее тихая боль, в нём достойная любви, — горечь человека, потерявшего своё счастье. Он стремился отомстить миру за это, словно ребенок, в тщеславном гневе топчущий ковёр из цветов. Он и себя самого не щадил, и с холодным мужеством проникал в лабиринты ужаса. Так, утратив ощущение родины, мы ищем дальних приключений по всему миру.

Он пытался мысленно дорисовывать жизнь и считал, что мысль должна показывать зубы и когти. Но его теории походили на дистиллят, в который не перешла настоящая сила жизни; ему не доставало драгоценного ингредиента изобилия, который только и придаёт вкус всем блюдам. В его планах царила сухость, хотя в логике невозможно было найти ошибку. Так исчезает благозвучие колокола из-за невидимой трещины. Это объяснялось тем, что власть слишком сильно жила у него в мыслях и слишком мало в *grandeza*¹,

1 Grandeza (исп.) — здесь: величие (души, поступка и т.п.).

в прирождённой *désinvolture*¹. В этом отношении его превосходил Старший лесничий, тот носил насилие, как добрую, старую охотничью куртку, которая становится тем удобнее, чем чаще она пропитывается грязью и кровью. По этой причине у меня и сложилось впечатление, что Бракмар как раз собирался принять участие в дерзкой аванюре; во время таких столкновений практики всё ещё побивали приверженцев этики.

Бракмар, видимо, догадывался о своей слабости в сравнении со стариком и потому прихватил с собой молодого князя. Между тем нам показалось, что он руководствовался совершенно иными причинами. Из этого часто возникают весьма странные союзы. Вероятно, Бракмар использовал князя, как используют лодку для переправы. В этом слабом теле жила сильная тяга к страданию, и, как во сне, он, почти не задумываясь, но тем не менее уверенно, придерживался определённого

1 *Désinvolture* (франц.) — непринуждённость. Очень важное для автора понятие, которое он продолжает уточнять во многих произведениях на протяжении всей жизни.

направления. Когда на поле брани рог зовёт в атаку, хорошие воины, даже умирая, вскакивают с земли.

Позднее мы с братом Ото часто вспоминали этот разговор, состоявшийся не под доброй звездой. Князь не проронил ни слова, а Бракмар проявлял нетерпимое превосходство, по которому узнаёшь техника. По нему было видно, что он в душе смеялся над нашими сомнениями и, не сказав ни слова о собственных планах, выпрашивал нас о положении лесов и пастбищных долов. Он также жадно интересовался подробностями приключения и гибели адепта Фортуню. По его вопросам мы видели, что он планировал провести там разведку или даже действовать, и догадывались, что он как плохой врач усугубит недуг. Ведь, в конце концов, не случайностью и приключением был тот факт, что старик начал выходить с лемурами из лесной тьмы и эффективно действовать. От сброда этого сорта раньше отделялись, как от сельских воров, а его усиление предвещало глубокие изменения в порядке, в здоровье, даже в благополучии

народа. Здесь следовало направлять, и потому необходимы были распорядители и новые теологи, которым недуг явлений был ясен до самых тончайших корней; лишь потом удар освящённого меча, который как молния прорежет мрак. По этой причине отдельные люди и должны были ясней и сильнее жить в сплочённости, чем когда-либо до сих пор — как собиратели в новом сокровище легитимности. Ведь живут особенным образом, даже если собираются выиграть лишь короткий забег. И тут важна высокая жизнь, свобода и даже человеческое достоинство. Правда, Брамар, предполагая отплатить старику той же монетой, считал такие планы тщеславным ребячеством. Он потерял уважение к самому себе, а с этого среди людей начинаются все несчастья.

Мы бесплодно проговорили о том о сём почти до рассвета. Если мы не понимали друг друга в словах, то всё же многое нам открывалось в молчании. Прежде чем принять решение, умные люди как врачи встречаются у постели больного. Один хотел бы взяться за

скальпель, другой хочет пощадить больного, а третий рассчитывает на средства особого свойства. Но что значат человеческий совет и человеческая воля, когда гибель уже решёна в звёздах? Впрочем, военный совет держат и перед проигранной битвой.

Князь и Бракмар собирались ещё в тот же день посетить пастбищные доли, и поскольку они не захотели принять ни руководства, ни сопровождения, мы порекомендовали им старого Беловара. Потом мы проводили обоих до ступеней ведущей на мраморные утёсы лестницы. Мы попрощались формально, как это принято, если встреча прошла без тепла и без результата. Но возникла ещё немая сцена. Оба остановились на ступеньке утёсов в первых лучах зари и долго в молчании взирали на нас. Уже поднялась утренняя прохлада, в которой предметы на короткое время становятся видны глазу такими, будто они раскрывают свою изначальность, по-новому и таинственно. В таком проблеске и стояли князь и Бракмар. Мне показалось, что Бракмар оставил насмешку превосходства и улыбался

вполне человечно. Молодой же князь выпрямился и глядел на нас весело — как будто он знал решение загадки, которая нас занимала. Молчание продолжалось довольно долго, потом брат Ото ещё раз схватил руку князя и низко склонился над ней.

После того, как оба исчезли из виду на зубчатом краю мраморных утёсов, я, прежде чем отойти ко сну, ещё раз навестил золотистую лилию. Тонкие тычинки уже облетели, золотисто-зелёное дно чашечки покрылась пятнышками пурпурной пыльцы. Её, видимо, во время свадебного пира разбросали большие ночные бабочки.

Так из каждого часа истекают сладость и горечь. И пока я склонялся над окроплёнными росой цветочными чашечками, из дальних рощ прозвучал первый крик кукушки.

21

Первую половину дня мы провели в волнении, а между тем оставленная машина стояла возле наших ворот. За завтраком Лампуза подала нам записку от Филлобиуса, из которой мы заключили, что визит не остался им незамеченным. В ней он просил нас настоятельно пригласить князя в монастырь; Лампуза роковым образом опоздала с её передачей.

В полдень пришёл старый Беловар, чтобы сообщить нам, что молодой князь с Бракмаром ни свет ни заря появились у него на хуторе. Там Бракмар, изучая раскрашенный пергамент, расспросил его о некоторых пунктах

в лесах. Потом они снова пустились в дорогу, а старик послал вслед за ними разведчика из своего клана. Оба углубились в леса на полосе между Филлерхорном и передней рощей Красного быка.

По тону сообщения нам стало ясно, что следовало ждать неприятностей, и мы предпочли бы, чтобы оба отправились в путь со слугами и сыновьями старика, как им было предложено. Мы знали принцип Бракмара, что самый опасный — это отдельный человек с именем, и решили, что они, возможно, нагрянули прямо к старому князю крови в его роскошном дворце, чтобы его одолеть. Но там они угодили в сети демонической власти — мы догадывались, что упущение Лампузы уже было как-то связано с тайными нитями этих сетей. Мы вспомнили об участии Фортунио, который как-никак был высокоодарённым человеком и, прежде чем двинуться в леса, долго занимался ими. Наверно, то была его карта, которая неким окольным путём оказалась у Бракмара. После смерти Фортунио мы долго разыскивали её и узнали, что она попала в руки кладоискателей.

Оба были не подготовлены и пустились в опасное предприятие без руководства, словно в обычное приключение. Они представляли собой как бы половинки человека — тут Бракмар, чистый техник власти, который всегда видит только малые части вещей, но никогда их корни, а здесь князь Сунмира, благородный ум, знающий правильный порядок, однако похожий на ребёнка, который дерзнул отправиться в леса, где воют волки. Нам представлялось, что отец Лампрос мог бы каким-то глубоким способом изменить и сплотить обоих, как то происходит благодаря мистериям. В записке мы сообщили ему о положении дел и спешно отправили Эрио в монастырь Фальциферы.

С того момента, как князь с Бракмаром появились у нас, мы чувствовали себя подавленными, но теперь мы увидели вещи отчётливее, чем до того. Мы ощутили, что они достигли высшей точки, и что нам следовало плыть так, как в бурной пучине проплывают узкое место. Теперь мы решили, что настало время использовать зеркало Нигромонта, собираясь зажечь им свет, пока солнце ещё стояло благоприятно. Мы поднялись на

открытую террасу второго этажа и, как предписывалось, с помощью хрустального стекла от небесного огня воспламенили светильники. С большой радостью мы увидели, как нисходит голубое пламя, и потом спрятали зеркало и светильники в нише, где стояли лары¹.

Мы ещё переодевались, когда вернулся Эрио с ответом монаха. Он застал патера за молитвой. Тот, не читая нашего листка, тотчас же передал мальчику письмо. Так вручают приказы, которые, давно запечатанные, лежат наготове.

Мы увидели, что послание было впервые подписано именем Лампрос; на нём был также изображён герб с изречением «*теун geduld hat ursach*». Также в первый раз в нём речь шла не о растениях, но патер в нескольких словах просил меня разыскать князя и о нём позаботиться, кроме того, добавлял он, я не должен идти без оружия.

Поскольку снаряжаться следовало безотлагательно, я, перекинувшись с братом Ото

1 Лары — покровители домашнего очага (*римс. мифол.*).

несколькими торопливыми фразами, надел старую и давно испытанную охотничью куртку, выдерживающую любые колючки. С оружием же в Рутовом скиту дело обстояло плохо. Лишь над камином висело ружьё, какое применяют для охоты на уток, только с укороченным стволом. Мы время от времени пользовались им в наших путешествиях, чтобы стрелять по рептилиям, сочетающим твёрдую кожу с живучестью и которых крупная картечь сражает гораздо вернее, нежели выстрел из лучшего карабина. Попавшись мне на глаза, оно вызвало во мне воспоминания о мускусной приманке, в жарких береговых зарослях льющейся навстречу охотнику, который приближается к местам обитания больших ящериц. На то время, когда суша и вода расплываются в сумерках, мы крепили на ствол серебряную мушку. Это ружьё было единственным приспособлением в нашем доме, которое можно было назвать оружием; поэтому я взял с собой его, а брат Ото повесил мне через плечо большую кожаную сумку, на клапане которой были прикреплены петли

для отстрелянной птицы, а внутри была на-
шита патронная лента с зарядами.

В такой спешке мы хватаемся за первое,
что нам попадается под руку; отец Лампрос
предписал мне иметь оружие тоже скорее
как символ свободы и вражды — так же как
друг приходит с цветами. Хорошая шпага, ко-
торую я использовал у пурпурных всадников,
висит далеко на севере в отцовском доме; да
я никогда б и не выбрал её для такого похода.
В горячих кавалерийских схватках, когда зем-
ля дрожит под ударом копыт и вольно дышит-
ся грудью, она сверкала в солнечном свете.
Я обнажал её в лёгком, покачивающемся
галопе, при котором оружие сперва звенит
очень тихо, а потом всё сильнее и сильнее,
в то время как глаза уже выбирают во вра-
жеском эскадроне противника. Я полагался
на неё также в те мгновения единоборства,
когда в сутолоке проскакиваешь галопом ши-
рокую равнину и уже видишь многие сёдла
пустыми. Там случался удар, приходившийся
на чашку франкских рапир и на бутель шот-
ландских сабель, — но бывал и такой, когда

ты запястьем чувствовал мягкое сопротивление уязвимого места, где клинок врежется в жизнь. Но все эти всадники, и даже вольные сыновья варварских племён, были благородными мужчинами, за отечество подставлявшими собственную грудь под железо; и за любого мы могли бы поднять на пиру стакан, как делают братья. Смельчаки этой земли в схватке определяют границы свободы; но оружие, которое ты обнажаешь против таких людей, против живодёров и их приспешников не применишь.

Я торопливо попрощался с братом Ото и с Эрио. Я посчитал добрым знаком, что мальчик при этом смотрел на меня с ясной уверенностью. Потом мы со старым пастухом отправились в путь.

22

Когда мы добрались до большого пастбищного хутора, уже опустились сумерки. Мы ещё издалека увидели, что там царило беспокойство; хлева были освещены факелами и гудели от рёва скота, который торопливо загоняли внутрь. Мы встретили часть пастухов с оружием и узнали, что другие ещё остались на дальних пастбищах Кампаньи, где нужно было спасать скот. Во дворе нас принял Сомбор, первый сын старика, великан с рыжей окладистой бородой и с кнутом, на ремне которого висели свинцовые шарики, в руке. Он сообщил, что в полдень в лесах возникло

волнение; увидели поднимающийся к небудым и слышали шум. Потом из болотных кустарников вдоль Филлерхорна выступили толпы «огненных червей» и охотников и угнали стадо, лежавшее там у фольварка. Сомбор, правда, ещё на болоте отбил у них часть добычи, но при этом заметил наличие толп лесничих, так что следовало ожидать заварухи. Между тем его разведчики выявили дозорные группы и действующих в одиночку людей в других точках, например, у передовой рощи Красного быка и даже у нас в тылу. Нам очень повезло, что мы смогли добраться до хутора прежде, чем нас отрезали.

В таких условиях я не мог ожидать, что при нападении Беловар будет сопровождать меня в леса, и счёл справедливым, чтобы он позаботился о своём добре и о своих близких. Но я, видимо, ещё недостаточно хорошо знал старого бойца и то рвение, какое он был способен проявить для друзей. Он тотчас же поклялся, что лучше даст сжечь дотла дом, хлев и амбары, чем в этот день отступит от меня хоть на шаг, и передал заботу о хуторе сыну

Сомбору. При этих словах женщины, уже вытаскивавшие из дома ценности, спешно постучали по дереву и с жалобным плачем сгрудились вокруг нас. Потом к нам подошла добрая матушка и ощупала нас с головы до ног. На моём правом плече пальцы её натолкнулись было на сопротивление, однако со второй попытки беспрепятственно по нему проскользнули. Когда же она коснулась лба сына, её охватил ужас, и она закрыла лицо¹. Тут молодайка бросилась старику на грудь, пронзительно причитая, как плачут по покойнику.

Но старик не любил бабских слёз, когда шёл в стычку и когда первое опьянение борьбы уже бурлило у него в крови. Он обеими руками расчистил себе пространство, как пловец раздвигает волны, и громким голосом поимённо призвал к борьбе сыновей и слуг. Он отобрал лишь патрульный отряд, передав всех остальных сыну Сомбору для охранения

1 Этот эпизод отсылает нас к древнегерманскому обычаю: старшая женщина ощупывает отправляющихся на опасное дело мужчин, выискивая уязвимое место.

хутора. Но он выискивал только таких, кому в борьбе кланов уже довелось убить человека, и кого он, будучи в хорошем расположении духа, называл своими петушками. Они пришли в кожаных колетах, кожаных колпаках и с нехитрым вооружением, какое сохранялось в арсеналах пастбищных хуторов со времён предков. В свете факелов тут можно было увидеть алебарды и палицы, тяжёлые шесты, к которым были прилажены острые топоры и зазубренные копья, а также пики, стенодробилки и заточенные крюки всевозможного вида. Этим старик собирался всласть прочистить и вымести лесной сброд.

Потом псари распахнули клетки, в которых, уже воя, шумели своры собак — стройные гончие и тяжёлые кусаки, со светлым и мрачным лаем. Рыча и почесываясь, они вырвались наружу, заполонив двор, во главе их тяжёлый легавый пёс Леонтодон. Он подпрыгнул на Беловара и, визжа, поставил лапы ему на плечи, хотя старик был великаном. Слуги вдоволь напоили их, а потом из миски разлили для них на бесшовном полу кровь битого скота.

Обе своры были гордостью старика, и, конечно, по большей части именно благодаря им сброд из ельниковых деревень в этом году предпочитал обходить его уголья дальней околицей. Он вырастил для лёгкой своры быструю степную борзую, ложе с которой делит вольный араб и щенка которой его бабёнка кормит собственной грудью. В этих, быстрых как ветер телах каждый мускул был прорисован настолько, будто их создал придирчивый анатом, а движение в них было таким мощным, что даже во сне их постоянно сотрясала дрожь. Из всех скороходов на этой земле только гепарды могли превзойти их, но и те лишь на короткой дистанции. Они гнали добычу парами, срезая дуги и крепко сидя на плечах зверя. Но были также и одиночные ловцы, которые опрокидывали жертву и держали за шею, пока не подойдёт охотник.

В своей тяжёлой своре старик таскал молосского¹ дога, великолепное, ярко-жёлтое

1 Молоссы — племя, населявшее Эпир в древней Греции.

с чёрными полосами животное. Неустрашимость, которой отличалась эта порода, повысилась ещё более благодаря скрещиванию с кровью тибетского дога, позволявшему им на римских аренах бороться с тура́ми и льва́ми. Об успехе свидетельствовали размеры, гордая осанка и хвост, который торчал как штандарт. На спинах почти всех кусак виднелись грубые шрамы — памятные следы медвежьих когтей. Большой медведь, выходя из зарослей на пастбище, был вынужден тесно прижиматься к опушке леса, ибо, если гончие настигали и останавливали его, остальные собаки загрызали его до смерти ещё прежде, чем подоспеет охотник.

Собаки на внутреннем дворе катались, рычали и душили друг друга, и из красных пастей в нашу сторону сверкали ужасные зубы. Сюда добавлялись отсветы факелов, звон оружия и причитания женщин, точно испугнутые голуби, порхавших по двору. Это буйство доставляло радость старику, правой рукой он с удовлетворением потирал бороду, а левой заставлял танцевать широкий кинжал,

заткнутый за красный кушак. А с запястья у него свисал на ремне тяжёлый двойной топор.

Потом слуги с кожаными фехтовальными манжетами, достававшими им до плеч, устремились к собакам и крепко привязали их к ремням с шипами. Мы с погашенными факелами вышли из ворот и через последние метки двинулись к лесам.

Взошла луна, в её сиянии я предавался мыслям, которые подстерегают нас, когда мы отправляемся в неизвестность. Во мне пробудились воспоминания о тех великолепных утренних часах, когда мы в авангарде скакали впереди наших отрядов, а позади нас в прохладной рани звенел хор молодых всадников. Там мы чувствовали, как празднично бьётся сердце, и все сокровища этой земли казались нам мелочью в сравнении с грядущей усладой решительного и почётного похода. О, какая же разница была между теми часами и этой ночью, в бледном свете которой я видел сверкание оружия, похожего на когти и рога чудовищ. Мы двигались в леса лемурув, отрицавших человеческие права и человеческие

установления, где не пожать было никакой славы. И я чувствовал ничтожность блеска и чести, и глубокую горечь.

Но утешением мне было то, что теперь я шёл не в очаровании магических приключений, как в первый раз, когда искал Фортунио, а в очаровании добрых дел, призванный высокой духовной силой. И я решил не предаваться страху и высокомерию.

23

Уже сразу за хутором мы разделились в походную колонну. Мы выслали вперёд разведчиков и наказали им следовать за гончими на ремне, тогда как основной отряд с тяжёлыми сворами замыкал движение. Лунный свет стал настолько ярким, что в его сиянии можно было читать написанное; поэтому, пока мы шагали по пастбищным долам, отдельные группы легко держали друг друга в поле зрения. По левую от себя руку мы также видели три высоких, похожих на чёрные пики тополя, а по фронту — тёмные массы Филлерхорна, так что без труда выдерживали направление.

Мы шагали к дуге, в которой серп Филлерхорна выдвигался из высокой поросли.

Я занял место сбоку от старого кровного мстителя у лёгкой своры, и оттуда мы не выпускали из виду головную группу. Когда она достигла камышового и ольхового пояса, ограничивающего болото, мы увидели, как люди в ней насторожились, потом группа проникла в брешь. Едва она исчезла из поля зрения, как мы услышали злой, жужжащий звук, точно защёлкнулась железная пасть, и предсмертный крик. Разведчики беспорядочно выскочили обратно из кустов на поле, а мы спешно устремились вперёд, чтобы перехватить их и узнать, что случилось.

Мы обнаружили прогалину, через которую проникли разведчики, по колено заросшую дроком и вереском. Она поблескивала в лунном свете, а посередине её взорам представала жуткая сцена. Мы увидели там одного из молодых слуг как дичь повешенным в тяжёлой железной скобе западни. Ноги его едва касались земли, а голова и руки за спиной свисали в траву. Мы поспешили к нему и поняли, что

он угодил в ловушку для простаков — как старик называл тяжёлые капканы, которые сам же и расставлял на человеческих тропах. Острый край скобы раздробил ему грудь; одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что спасти парня уже невозможно. Однако мы совместными усилиями растянули пружину, чтобы высвободить труп из захвата. При этом мы обнаружили, что скоба на манер акульей челюсти была снабжена острыми зубами из голубой стали, и, уложив мертвеца на пустоши, мы осторожно закрыли опять эту пасть.

Можно было предположить, что за засадой наблюдали разведчики, и действительно, стоя в молчании вокруг вытянувшейся жертвы подлого оружия, мы слышали шорох из ближайших кустов, а потом громкий, ехидный смех в ночи. Теперь что-то зашевелилось в болотистой топи, как будто в гнезде испугнули спящих ворон. С сосновых участков донёсся хруст ломаемых веток и волочения, а вдоль тёмных канав, на которых старик держал хижины для охоты на уток, слышался шелест. Одновременно болото наполнилось свистом

и беспорядочными голосами, как если бы в нём орудовала стая крыс. Мы слышали, как отродье подбадривает себя возгласами, какими оно придаёт себе дерзости в грязи дна и каторжных тюрем, когда составляет уверенное большинство. Они и в самом деле, казалось, имели большой перевес, ибо вблизи и вдали мы слышали развязные песни этой плутовской братии. Непосредственно перед нами шумела шайка пикузьеров¹. Они тяжело топали по болоту и квакали, как лягушки:

Catherine a le craque moisi,
Des seins pendants,
Des pieds de cochon,
La faridondaine.²

А из-за высоких метёлок дрока, зарослей камыша и ивовых кустов звучал им ответ. В этой суматохе мы увидели, как на трясине приплясывают зеленоватые блуждающие огни, и испуганно вспархивают водоплавающие птицы.

1 La Picousière от *франц.* picouser — делать укол, колоть.

2 «Катрина провоняла,/Грудь у неё отвисла,/Ноги, как у свиньи,
/Ля-ляля-ля-ля» (*франц.*).

Между тем подоспел и основной отряд с тяжёлой сворой, и мы заметили, что от вида этого призрачного шабаша у слуг, похоже, затряслись поджилки. Но здесь был старый Беловар, мощно возвысивший голос:

— Начинайте, ребята, вперёд! Эти оборванцы не выдержат натиска. Но берегитесь ловушек!

С этими словами он, не оглядываясь по сторонам, начал продвигаться вперёд, сверкая в лунном свете лезвием двойного топора. Тут за ним последовали и слуги, горя желанием наброситься на расстановщиков ловушек. Маленькими группами мы пробирались через камыш и кусты и, насколько то было возможно, прощупывали почву под ногами. Так мы отыскивали узкие проходы между заводями, на тёмных зеркалах которых светились русалочки и розы, и продирались сквозь сухой камыш, от чёрных початков которого отслаивалась шерсть. Вскоре мы совсем близко услышали голоса и почувствовали, как пули со свистом проносятся мимо наших висков. Теперь настал черёд псарям натравить гончих, отчего шерсть у тех встала дыбом, а глаза

засверкали как жаркие угли. Потом их спустили с поводков, и они, радостно повизгивая, устремились сквозь ночной кустарник как бледные стрелы.

Старик с полным основанием предсказал, что шайки не дадут нам отпора — как только собаки напали, мы услышали жалобные крики, которые, удаляясь, терялись в кустах, а за ними лай своры, шедшей по следу. Мы стремительно бросились вдогонку и увидели, что на противоположной стороне густого кустарника находится маленький торфяник, почва на котором была, как на гумне. На эту площадку, убегая, сбился противник и, спасая шкуру, со всех ног устремился к ближнему высокоствольному лесу. Между тем достичь его удалось только тем, кого не тронули гончие. На многих, как мы увидели, налетели собаки, и они вынуждены были остановиться — животные окружали их подобно бедным огням в царстве проклятых и яростно напрыгивали на них. Местами убежавшие были уже повержены и лежали на земле как парализованные, ибо охотящиеся в одиночку псы с рычанием держали их за горло.

Теперь слуги спустили с поводков тяжёлую свору, и хищные псы с воем ринулись в ночь. Мы видели, как они с наскоку валили свои жертвы, потом рвали добычу и, оспаривая её друг у друга, таскали по земле во все стороны. Слуги, сыпля ударами, следовали за ними. Здесь, как в аду, не было сострадания. Они наклонялись над поверженными и оставляли собакам их право поживиться. Потом с большим усердием снова гнались за бестиями.

Так стояли мы на болоте, как в преддверии тёмного бора. Старый Беловар был в хорошем настроении; он хвалил слуг и собак за работу, разливая по чарке водки. Потом он настоял на продолжении наступления, пока лес из-за сбежавшей своры пребывал в растерянности, и велел прорубить топорами брешь в тяжёлой изгороди, загораживавшей его. Мы оказались недалеко от того места, куда я с братом Ото проникал в поисках Красной птички, и прежде всего собирались атаковать Кёппельсблеек.

Брешь вскоре была с ворота амбара. Мы зажгли факелы и как через тёмную глотку вошли в высокоствольный лес.

24

Как красные колонны блестели стволы в зареве огня; и дым факелов поднимался вертикально тонкими нитями, которые на большой высоте в неподвижном воздухе сплетались в балдахин. Мы шагали широкой цепью, которая из-за поваленных стволов то сжималась, то снова растягивался в стороны. Но благодаря факелам мы не теряли друг друга из виду. Для обеспечения маршрута старик прихватил с собой мешочек мела, из которого он отмечал наш путь светлым следом. Так он позаботился, чтобы мы не потеряли выходную лазейку.

Собаки тянули в направлении Кёппельс-блеека, поскольку их всегда ведь манит запах преисподних и живодёрен. Благодаря им мы быстро достигли поля и легко двинулись вперёд. Только время от времени из верхушечных гнёзд с тяжёлыми взмахами крыльев взлетала какая-нибудь птица. Да беззвучно кружили в факельном свете рои летучих мышей.

Вскоре мне показалось, что я по сплошной лесосеке узнаю холм; он мерцал в матовом отсвечивании большого огня. Мы замерли на месте и теперь слышали голоса, доносящиеся оттуда, только они были не такие хвастливые, как только что на болоте. Было похоже, что леса там охраняют подразделения лесничих, и Беловар решил расправиться с ними так же, как с шайкой преступников. Он выдвинул вперёд псарей с лёгкой сворой, велел им выстроиться в линию, как для бега наперегонки, а затем послал собак в ночь как светящиеся стрелы. Сперва они, прочёсывая, пробирались через кусты, затем мы слышали на той стороне свисты и такой вой, как будто явился сам Дикий охотник, чтобы их встретить. Они

нарвались на свору легавых, которых Старший лесничий держал в клетках.

Фортунио однажды поведал мне об этих злобных и зубастых псах, их ярости и силе такие вещи, которые казались неправдоподобными. В этих кровожадных тварей Старший лесничий превратил кубинских догов, имеющих рыжий окрас и чёрное пятно на лбу. Ещё в древности испанцы приучили этих кромсателей разрывать индейцев, и их развели во всех странах, где имелись рабы и рабовладельцы. С их помощью и чернокожих на Ямайке, которые уже одержали было победу в вооружённом восстании, опять загнали в ярмо. Вид их по описаниям был настолько страшным, что даже мятежники, презиравшие железо и огонь, предпочли покориться, стоило охотникам на рабов высадиться на берег с этими кровопийцами. Вожаком рыжей своры был Шифон Руж¹, дорогой Старшему лесничему, потому что он происходил по прямой линии от легавого пса Бечерилло², чьё имя роковым образом связано

1 Chiffon Rouge (франц.) — Красная тряпка.

2 Becerillo (исп.) — Телёнок.

с завоеванием Кубы. Сообщается, что его хозяин, капитан Яго де Сеназда, дабы ублажить взоры своих гостей, приказывал разрывать на куски пойманных индианок. В человеческой истории постоянно возникают моменты, когда эти твари грозят превратиться в чисто демонические существа.

По этим страшным воплям мы поняли, что наша лёгкая свора была потеряна прежде, чем мы успели послать им подмогу. Её, вероятно, уничтожили тем быстрее, что она была чистых кровей, а собаки этой породы будут биться до смерти, но не повернут назад. Мы слышали, как напирают рыжие своры, после того как они были выпущены; и по мере того, как их вой алчно затихал в шерсти и плоти, глух и визжащий крик левретки.

Увидев, как его благородные звери в одно мгновение были принесены в жертву, старый Беловар принялся бушевать и изрыгать проклятия. Он, должно быть, не решался бросить им вслед молоссов, ибо те сейчас оставались нашей сильнейшей картой в неизвестной игре. Он крикнул слугам хорошо пригото-

виться, и те натёрли грудь и губы больших зверей водкой с беленой, а для защиты надели им на шею ремни с шипами. Другие для борьбы вставляли факелы в мёртвые сучья.

Это произошло в один миг, и, едва мы снова заняли позицию, как рыжая свора уже точно ветер устремилась на нас. Мы услышали, как собаки проламываются через тёмные кусты, затем бестии заметались в окружении, на котором как угольное мерцание лежал свет факелов. Вожаком их был Шифон Руж, вокруг шеи которого сверкал веер острых лезвий. Он низко опустил голову и, брызгая слюной, свесил язык до земли; глаза его, высматривая, сверкали снизу в нашу сторону. Издалека были ясно видны оскаленные резцы, из которых нижняя пара выступала над губой подобно клыкам. Несмотря на свой большой вес, чудовище двигалось вперёд лёгкими прыжками — в поперечном, танцующем беге, как будто в избытке силы оно считало зазорным нападать на нас в прямом движении. А за ним в свете факелов показалась в чёрных и красных метках свора легавых.

При виде их раздались крики ужаса, и громко зазвучали призывы к молоссам. Я увидел, как старый Беловар с большим беспокойством взглянул на своих гончих, но гордые животные, пристально уставив глаза вперёд и наострив уши, в неустрашимой позе натягивали поводок. Тут старик засмеялся в мою сторону и подал знак, и, словно выпущенные туго натянутой тетивой, жёлтые доги полетели на рыжих. Во главе их на Шифон Ружа мчался Леонтодон.

Теперь в красном свете под гигантскими стволами возникли вой и ликование, как будто мимо проходило Дикое войско и распространилась жажда убийства. Одни животные валялись по земле большими массами и рвали противника, а другие, травящие друг друга, широким кругом огибали нашу стоянку. Мы пытались вмешаться в бойню, бушевание которой наполнило воздух, но было трудно достать рыжих догов, ударом холодного оружия и выстрелом не рискуя задеть молоссов. Только там, где охота окружала нас подобно кольцевой трассе, удавалось брать на мушку

отдельные фигуры и подбивать их, как стреляют в пернатую дичь. Здесь оказалось, что со своим оружием я, не предвидя этого, сделал лучший выбор, какой только был возможен. Я старался нажимать на курок, когда глаз через серебряную мушку видел чёрное пятно на лбу твари, и тогда был уверен, что животное неподвижно вытянется в огне, и больше не будет подавать признаков жизни.

Но и оттуда, с другой стороны, мы видели вспышки выстрелов и догадались, что там отстреливали молоссов из траектории травли. Таким образом, перестрелка походила на преследование: она в форме эллипса охватывала огневые точки, тогда как большая свора билась на короткой оси. Траектория прояснялась в ходе столкновения благодаря столбам огня, потому что там, где факелы падали на землю, ярким пламенем вспыхивал сухой кустарник.

Вскоре показалось, что молоссы превосходят кровавых тварей, правда, не цепкостью челюстей, но, пожалуй, весом и атакующей мощью. Однако рыжие доги имели численное превосходство. Также казалось, что с про-

тивоположной стороны в действие были брошены свежие стаи, ибо нам всё труднее было помогать собакам. Так как легавые были добросовестно натасканы отыскивать человека, которого Старший лесничий считал лучшей дичью; и когда молоссов было уже недостаточно, беспокойство о своей безопасности отвлекало нас от преследования. То из тёмных кустов, то из чада головёшек на нас устремлялся один из рыжих зверей, и крики оповещали об этом. Тогда нам приходилось спешно заботиться о том, чтобы остаться на достаточной дистанции от прыжка, однако некоторых перехватывали только копья слуг, а иного со свистом укладывал двойной топор старого Беловара, когда тот уже кровожадно лежал на жертве.

Мы видели уже, как проблескивают первые недобрые бреши в наших рядах; мне также казалось, что крики слуг стали резче и взволнованнее — в таких ситуациях особый оттенок звука как тихий плач уведомляет, что отчаяние уже очень близко. С этими зовами смешивался вой свор, треск выстрелов

и призраки пламени. Потом мы слышали, как в зарослях ельника раздался раскатистый хохот, трубное понукание, давшее нам знать, что теперь в действие вступил Старший лесничий. В этом смехе звучала пугающая весёлость охотника на людей, обходящего свои угодья. Старик принадлежал ещё к большим господам, которые просто ликуют, когда им сопротивляются. Ужас был его стихией.

В этой суматохе мне становилось жарко, и я почувствовал, что на меня перешло возбуждение. Тут внезапно, как уже часто бывало в подобных ситуациях, встал передо мной образ моего старого оружейного мастера ван Керкхофена. Он, невысокий фламандец с рыжей бородой, который натаскивал меня в пешей службе, часто повторял, что один прицельный выстрел стоит больше десятка других, впопыхах выпущенных из ствола. Он также внушил мне, что в те моменты сражения, когда распространяется ужас, нужно указательный палец держать вытянутым и спокойно втягивать воздух — ибо сильнейшим оказывается тот, кто хорошо дышит.

Этот Керкхофен, стало быть, встал передо мной как живой, ибо любое правильное обучение — дело духовное, а портреты хороших наставников помогают нам в бедствии. И как когда-то на севере перед мишенью в тире, я остановился, чтобы медленно продышаться, и почувствовал, как тотчас же взгляд у меня стал яснее, а грудь свободнее.

Неудобным в первую очередь, когда исход стычки склонялся не в нашу пользу, было то, что густой дым всё больше заслонял от нас поле обстрела. Тогда бойцы изолировались, и предметы погружались в неизвестность. Из всё более короткой дистанции напирали рыжие доги. Так я уже не один раз видел, как Шифон Руж кружит около моего места, но умное чудовище, как только я вскидывал ружьё, находило укрытие. Едва меня обуяла жажда охоты, и острое желание уложить любимого дога Старшего лесничего соблазнило меня прыгнуть за ним, как я опять увидел его исчезающим в дыму, который словно широкий ручей тёк мимо меня.

25

В густом чаду мне время от времени снова казалось, что я вижу проскальзывающее как тень чудовище, но всегда лишь мельком, чтобы прицельно выстрелить. И в завихрениях меня дурачили миражи, так что в конце концов я остановился, вслушиваясь в неизвестность. Тут я услышал треск, и у меня мелькнула мысль, что бестия могла обогнуть меня, чтобы напасть сзади. Дабы поостеречься, я опустился на колени и взял ружьё на изготовку, а для прикрытия с тыла выбрал терновый куст.

Как часто в подобных ситуациях наш глаз привлекают всякие мелочи, так и там,

где я встал на колени, среди мёртвой листвы я увидел цветущее растение и узнал в нём Красную лесную птичку. Стало быть, я находился на том самом месте, куда мы с братом Ото давеча добрались, и, следовательно, в непосредственной близости от вершины холма у Кёппельсблеека. И мне действительно удалось в несколько шагов достичь невысокого купола, точно остров поднимающегося из дыма.

С гребня его я увидел раскорчёванный участок у Кёппельсблеека, светящийся в матовом сиянии, но одновременно моё внимание привлекла к себе огненная точка вдали, в глубине лесов. Там я увидел крошечный, будто сработанный из красной филиграни замок с зубцами и круглыми башнями, он был объят пламенем; и я вспомнил, что на карте Фортунно это место было обозначено как «Южная резиденция». Пожар дал мне понять, что атака князя и Бракмара, должно быть, достигла самых ступеней дворца; и как всегда, когда мы видим последствие смелых деяний, в моей груди поднялось чувство радости. Но в то же

время мне вдруг вспомнился торжествующий хохот Старшего лесничего, и мой взор спешно обратился на Кёппельсблеек. Там я увидел вещи, гнусность которых заставила меня побледнеть.

Костры, освещавшие Кёппельсблеек, ещё тлели, но уже словно серебристой накидкой покрылись слоем белого пепла. Их мерцание падало на живодеёрскую хижину, стоящую с воротами нараспашку, и красным светом окрашивало череп, поблескивающий на фронтоне. По следам, оставленным как вокруг кострищ, так и на внутренней части мерзкой пещеры и которые я не хочу описывать, можно было догадаться, что лемуры справляли здесь один из своих жутких праздников, его отблеск ещё лежал на местности. Мы, люди, затаив дыхание и точно сквозь щель, взираем на подобную дикость.

И должно было так случиться, что среди всех старых и давно уже лишившихся плоти голов, глаза мои обнаружили также две новые, насаженные на высокий шест, — головы князя и Бракмара. С этих железных кольев, на

которых выгибались крюки, они смотрели на пылающие угли костров, заметаемые белым пеплом. Волосы молодого князя теперь поседели, но черты его показались мне ещё благороднее, в них отражалась та высшая, утончённая красота, которую накладывает только страдание.

При виде этого я почувствовал, как к моим глазам подступают слёзы — но те слёзы, в которых вместе со скорбью нас охватывает подлинное воодушевление. На этих бледных масках, с которых лоскутами свисала ободранная кожа и которые с высоты мученического столба взирали вниз на костры, играла тень некой улыбки высшей сладости и веселья, и я догадался, как с высокого человека в этот день шаг за шагом спадала слабость — как с короля, переодетого нищим, спадают лохмотья. Тут меня до глубины сердца пронизал озноб, ибо я понял, что этот человек оказался достойным своих древних предков и победителей чудовищ; он убил в своей груди дракона страха. Здесь мне с несомненностью предстало то, в чём я часто сомневался: среди

нас встречаются ещё благородные люди, в чьих сердцах живо и подтверждается знание великого порядка. И как высокий пример заставляет нас ему следовать, я перед этой головой поклялся себе, что в будущем, как бы оно ни сложилось, лучше одиноко пасть со свободными, чем подниматься к триумфу с холопами.

Черты Бракмара, напротив, выглядели совершенно неизменившимися. Он насмешливо, с едва заметным отвращением глядел со своей жерди на Кёппельсблеек, он сохранял выражение вынужденного спокойствия человека, который испытывает сильную судорогу, однако сохраняет лицо. Я бы едва удивился, увидев на этом лице монокль, который он носил при жизни. Волосы тоже ещё были чёрными и блестящими, и я догадался, что он вовремя успел проглотить пилюлю, имевшуюся при себе у каждого мавританца. Это такая капсула из цветного стекла, которую носят преимущественно в перстне и в моменты угрозы отправляют в рот. Тогда достаточно одного укуса, чтобы измельчить капсулу,

в которой содержится быстродействующий яд. Это процедура, которая на языке мавританцев называется «обращением в третью инстанцию» — то есть к третьему уровню власти — она относится к представлению, какое в этом ордене имеют о достоинстве человека. Угрозой достоинству считается подчинение низшей власти; и ожидается, что каждый мавританец в любой час снаряжён для апелляции к смерти. Таким образом, это стало последним приключением Бракмара.

Я смотрел на картину в оцепенении и не помню, как долго перед ней простоял — словно оказался вне времени. Одновременно я впал в некий сон наяву, в котором позабыл близость опасности. В таком состоянии мы, точно в сновидении, проходим через угрозу — хотя без осторожности, но близко к духу вещей. Блуждая во сне, я ступил на раскорчёванный участок Кёппельсблеека, и, словно пьяному, вещи казались мне отчётливыми, но не вне меня. Они были мне хорошо знакомы, как в стране детства, и бледные черепа на старых деревьях вокруг вопросительно смотрели

на меня. Я слышал поющие на прогалине выстрелы — как тяжёлое жужжание коротких стрел арбалета, так и резкие уханья нарезных ружей. Пули пролетали так близко ко мне, что на висках поднимались волосы, но я воспринимал их только как глубокую мелодию, которая сопровождала меня и придавала моим шагам ритм.

Так в сиянии серебристого жара я дошёл до жуткого места и наклонил к себе шест, на котором была голова князя. Опустившись на колени, я двумя руками снял её с железного наконечника и уложил в кожаную сумку. За этим занятием я ощутил сильный удар в плечо. В меня, должно быть, угодил один из выстрелов, но я не почувствовал ни боли, ни увидел крови на своей кожаной куртке. Только правая рука парализовано повисла вниз. Словно очнувшись от сна, я осмотрелся по сторонам и с высоким трофеем поспешил обратно в лес. Ружьё я оставил возле места находки Красной лесной птички, но оно больше не могло мне пригодиться. Я без оглядки кинулся к тому месту, на котором оставил сражающихся.

Здесь царила мёртвая тишина, факелы тоже потухли. Только там, где пылали кусты, ещё лежало мерцание красного жара. В нём глаз угадывал на тёмной земле трупы бойцов и убитых собак; они были изувечены и страшно растерзаны. В середине их, у ствола старого дуба, лежал Беловар. Голова его была расколота, и седую бороду окрасила струя крови. Красным от крови был также двойной топор рядом с ним и широкий кинжал, который ещё крепко сжимала его рука. У его ног вытянулся верный Леонтодон с совершенно изодранной пулями и уколами шкурой и, умирая, лизал ему руку. Старик славно бился, ибо вокруг него валялись скошенные люди и собаки. Так он нашёл достойную смерть, в бурном водовороте жизненной охоты, где красные охотники травят красную дичь по лесам, в которых крепко переплетены смерть и наслаждение. Я долго смотрел мёртвому другу в глаза и левой рукой положил ему на грудь горсть земли. Великая мать, чьи дикие, радующиеся крови праздники он праздновал, гордится такими сынами.

26

Чтобы из темноты огромного леса выбраться обратно на пастбищные угодья, мне нужно было только придерживаться следа, который мы оставили, идя сюда, и я, погрузившись в думы, зашагал по белой тропинке.

Мне казалось странным, что во время бойни я находился у мертвецов, и я воспринял это как символ. Я по-прежнему пребывал в плену грёз. Это состояние не было для меня абсолютно новым; прежде мне уже приходилось переживать его вечерами тех дней, когда смерть поступала ко мне совсем близко. Тогда силой духа мы немного выходим из тела

и подобно провожатому шагаем рядом с нашим подобием. Только я никогда так сильно не ощущал расторжения этих тончайших нитей, как здесь, в лесу. Сомнамбулически следуя по белому следу, я увидел мир в тёмном мерцании эбенового дерева, в котором отражались фигурки из слоновой кости. В таком состоянии я пересёк также болото возле Филлерхорна и невдалеке от высоких тополей ступил на территорию Кампаньи.

Здесь я с ужасом увидел, что небо озарено гибельными всполохами пожаров. На пастбищных угодьях также царил недобрый переполох, и мимо меня торопливо скользили тени. Среди них могли быть слуги, избежавшие резни; но я поостерёгся окликать их, поскольку многие находились, похоже, в пьяной ярости. Потом я увидел людей, размахивавших головёшками, и услышал жаргон пикузьеров. Толпы их, нагруженные добычей, уже снова направлялись к лесам. Передняя роща Красного быка была ярко освещена; крики женщин там смешивались со смехом триумфального пиршества.

Исполненный недобрых предчувствий, я торопливо направился к пастбищному хутору и уже издалека понял, что за это время лесным сбродом был убит и Сомбор со своими близкими. Богатое поселение было охвачено языками яркого пламени, добравшегося уже до стропил дома, хлева и амбаров, а «огненные черви» с улюлюканьем плясали вокруг пожарища. Грабёж был в полном разгаре; они уже распороли перины и, как мешки, набивали их добычей. Рядом я увидел группы кутивших, которые добрались до домашних запасов; они выбивали крышки наполненных бочек и шапками черпали вино.

Убийцы шатались от неумеренности, и это обстоятельство сыграло мне на руку, ибо я брёл среди них точно во сне. Ослеплённые пламенем, убийством и пьянством, они передвигались как звери, каких видишь на почве мутных трясин. Они скользили совсем рядом со мной, и один, волочивший узел, полный бутылок водки, двумя руками поднял его в мою сторону и, ругаясь, ушёл, когда я отказался его принять. Я прошёл сквозь них не-

тронутым, как будто мне была свойственна *vis calcandi supra scorpiones*¹.

Когда я покидал развалины пастбищного хутора, мне бросилось в глаза одно обстоятельство, ещё более усилившее мой ужас. А именно — мне показалось, будто за спиной накал пожара поблек — но не столько потому, что я удалялся, сколько от нового, более грозного зарева, поднимавшегося на небосводе передо мной. Эта часть пастбищных угодий тоже была не совсем безлюдной. Я увидел разогнанный скот и спасающихся бегством пастухов. Прежде всего, я различил вдали лай рыжей своры, которая, похоже, приближалась. Поэтому я ускорил шаг, хотя моё сердце сжимал страх перед ужасным кольцом пламени, навстречу которому я шёл. Я уже неясно видел мраморные утёсы, возвышающиеся как чёрные рифы в море лавы. И уже слыша собак за спиной, я торопливо взобрался на крутой выступ скалы, с края которого мы в высоком опьянении так часто впитывали взглядом

1 Сила (или: смелость) ходить по скорпионам (*лат.*).

красоту этой земли, увиденную теперь в пурпурной мантии уничтожения.

Сейчас вся бездна гибели открылась в высоких языках пламени, а вдали на фоне заката вспыхивали древние и прекрасные города на краю Лагуны. Они сверкали в огне подобно цепи рубинов, и из тёмной глубины вод, извиваясь, выросло их отражение. Пылали также деревни и посёлки по всему краю, а из гордых замков и монастырей в долине высоко к небу били пожары. Языки пламени как золотые пальмы бездымно поднимались в неподвижный воздух, и из венцов их падал огненный дождь. Высоко над этим искрящимся вихрем в ночи парили озарённые красными лучами стаи голубей и цапли, поднявшиеся из камыша. Они кружили до тех пор, пока оперение их не охватывал огонь, тогда они как горящие лампионы опускались в пожар.

Как будто пространство совершенно лишилось воздуха, наружу не проникало ни звука; спектакль разворачивался в жуткой тишине. Я не слышал снизу ни плача детей, ни жалобных причитаний матерей, но не доно-

силось оттуда и боевых кличей родовых союзов, и рёва скота, стоявшего в хлевах. Из всех ужасов уничтожения до мраморных утёсов поднималось только золотое мерцание. Так вспыхивают дальние миры для улады глаз в красоте заката.

Я не слышал и крика, изданного моим собственным ртом. Только где-то глубоко внутри меня, как будто я сам стоял в пламени, я слышал треск огненного мира. И только это тихое потрескивание я мог воспринимать, в то время как дворцы разваливались обломками, а из портовых хранилищ высоко в воздух взлетали мешки с зерном, чтобы разлететься в раскаленную пыль. Потом, сотрясая землю, взорвалась большая пороховая башня у Петушиных ворот. Тяжёлый колокол, который тысячелетиями украшал Бельфрид и звон которого сопровождал бесчисленных людей в жизни и смерти, начал сперва темно, потом всё ярче накаляться и, наконец, рухнул с опоры, круша колокольню. Я видел, как в красных лучах светятся коньки фронтона на храме с колоннами и с высоких цоколей вниз клонятся божест-

венные изображения со щитами и копьями и беззвучно погружаются в пекло.

Перед этим морем огня меня во второй раз, и ещё сильнее, сковало сомнамбулическое оцепенение. И как в таком состоянии мы одновременно обзираем многое, так и я услышал, как неуклонно приближаются своры и за ними лесные шайки. Вот собаки уже достигли кромки утёсов, и в паузах я чуял низкий лай Шифон Ружа, которого с воём сопровождала стая. Но в этом состоянии я был неспособен даже пошевелить ногой и чувствовал, как крик застревает у меня в горле. Лишь уже увидев зверей, я смог сдвинуться с места, однако чары не рассеялись. Мне казалось, что я мягко парю вниз вдоль ступеней мраморных утёсов; лёгким взмахом я также перелетел над живой изгородью, огораживающей сад Рутового скита. А за мной тесной стаей, громяхая, по узкой скальной тропе гналась Дикая охота.

27

В прыжке я едва не упал на рыхлой почве лилейных клумб и с удивлением обнаружил, что сад чудесно освещён. Цветы и кусты лучились голубым блеском, как будто были нарисованы на фарфоре, а потом оживлены волшебным заклинанием.

Наверху, в дворике перед кухней, стояли Лампуза и Эрио, погружённые в созерцание пожара. Брата Ото в праздничной одежде я тоже увидел на балконе Рутового скита; он вслушивался в направлении скальной лестницы, по которой сейчас как бурный ручей скатывался лесной сброд с собаками. Они уже

прошмыгнули в живой изгороди как рой крыс и колотили кулаками в садовые ворота. Тут я увидел, как брат Ото улыбается, подняв перед глазами лампу из горного хрусталя, в которой танцевало маленькое голубое пламя. Он, казалось, едва ли замечал, как тем временем под ударами преследователей с собаками раскалываются ворота и как тёмная стая, ликуя, вламывается на лилейные клумбы во главе с Шифон Ружем, на шее которого сверкали лезвия.

В этом бедственном положении я возвысил голос, чтобы окликнуть брата Ото, который, как я видел, ещё стоял на балконе, внимательно вслушиваясь. Но он, похоже, меня не услышал, ибо обернулся с невидящим взглядом и, держа светильник перед собой, вошёл в кабинет с гербариями. Таким образом, он вёл себя как высокий брат — поскольку перед лицом уничтожения ему нужно было освятить труд, которому мы отдали нашу жизнь, он оставил мою физическую беду без внимания.

Тогда я окликнул Лампузу, которая с освещённым заревом пожара лицом стояла у входа

в скальную кухню, и на мгновение увидел её со скрещенными на груди руками смотрящей на движущуюся толпу, между тем как зубы её обнажились в свирепой улыбке. Её вид показывал, что от неё нельзя было ждать никакого сочувствия. Пока я заботился о детях её дочерей и мечом разил неприятеля, я был желателен; любой победитель был ей хорош как зять, и любого в слабости она презирала.

Тут, когда Шифон Руж уже изготовился к прыжку, мне на помощь пришёл мой Эрио. Мальчик схватил серебряную мисочку для кормления змей, ещё стоявшую во дворике. И постучал по ней не как обычно деревянной ложкой, а металлической вилкой. Она извлекла из чаши звук, похожий на смех и заставлявший оцепенеть человека и зверя. Я почувствовал, как у подножия мраморных утёсов задрожали расселины, потом воздух стократно наполнился тонким свистом. В голубом блеске сада разлилось яркое свечение, и из своих трещин, поблескивая, устремились вперёд ланцетные гадюки. Они заскользили по клумбам как гладкие ремни плети, под

взмахами которой поднимался вихрь лепестков. Потом, образовав на земле золотистый круг, они медленно поднялись в рост человека. Они тяжёлыми ударами маятника покачивали головами, и их выставленные для атаки клыки смертоносно поблескивали как буры из загнутого стекла. К этому танцу воздух прорезало чуть слышное шипение, как если бы в воде охлаждалась сталь; также с оправы клумб раздалось тонкое, костяное пощёлкивание, похожее на кастаньеты мавританских танцовщиц.

В этом хороводе лесная шайка от страха точно окаменела, глаза у них вылезали из орбит. Выше всех поднялась Грайфин; она покачивала светлым щитком перед Шифон Ружем и, как бы играя фигурами своих серпантинов, окружала его. Монстр, дрожа, следил за взмахами её танцующего извивания, и шерсть у него встала дыбом — потом Грайфин, казалось, совсем легко коснулась его уха, и сотрясаемая смертельной судорогой, откусывая себе язык, кровавая псина начала кататься по цветнику лилий.

Это послужило знаком для множества танцовщиц, которые золотыми кольцами бросились на свою добычу, переплетясь так густо, что людей и собак, казалось, обвивало только одно чешуйчатое тело. Также казалось, что из тугой сети возник только один предсмертный крик, и его тотчас же точно шнуром удушила утончённая сила яда. Затем мерцающее сплетение разделилось, и змеи, спокойно извиваясь, снова уползли в свои расселины.

Посреди клумб, которые теперь покрывали тёмные и вздувшиеся от яда трупы, я поднял глаза на Эрио. Я увидел мальчика с Лампузой, которая гордо и нежно вела его, входящими в кухню, и он с улыбкой помахал мне рукой, между тем как скальные ворота со скрипом закрылись за ними. Тут я почувствовал, что кровь легче заструилась у меня по жилам и что чары, которые держали меня в плену, отступили. Я мог также опять свободно двигать правой рукой, и я торопливо вошёл в Рутовый скит, поскольку тревожился за брата Ото.

28

Проходя библиотеку, я обнаружил книги и пергаменты в строгом порядке, какой навоят, отправляясь в дальнейшее путешествие. На круглом столе в холле стояли изображения ларов — они были красиво обставлены цветами, вином и жертвенной пищей. Само помещение тоже было празднично убрано и ярко освещено высокими свечами рыцаря Деодата. Я почувствовал себя в нём очень по-домашнему, когда нашёл его приготовленным к торжеству.

Пока я рассматривал результаты его труда, из кабинета с гербариями наверху вышел брат Ото, оставив двери широко открытыми.

Мы крепко обнялись и, как когда-то в паузах боя, поделились друг с другом нашими приключениями. Когда я рассказал, как нашёл молодого князя, и извлёк из своей сумки трофей, то увидел, как лицо брата Ото оцепенело — потом, вместе со слезами, его осветило чудесное сияние. Вином, стоявшим подле жертвенной пищи, мы начисто омыли голову от крови и смертного пота, потом поместили её в одну из больших благоухающих амфор, в которых мерцали лепестки белых лилий и ширазских роз. Теперь брат Ото наполнил два кубка старым вином, которые, предварительно совершив *libatio*¹, мы осушили, а потом разбили о цоколь камина. Так мы отметили прощание с Рутовым скитом и в глубокой печали покинули дом, ставший тёплой одеждой для нашей духовной жизни и нашего братства. Ведь нам нужно уходить из любого места, которое давало нам приют на земле.

Теперь, покинув наше имение, мы через ворота торопливо направились к гавани.

1 *Libatio* — возлияние в жертву (лат.).

Я обеими руками сжимал амфору, а брат Ото укрыл на груди зеркало и светильник. Достигнув поворота, где в холмах терялась тропа к монастырю Фальциферы, мы ещё раз задержались и оглянулись на дом. Мы увидели его лежащим в тени мраморных утёсов, с его белыми стенами и широкой шиферной кровлей, на которой отражалось матовое мерцание дальних пожаров. Подобно тёмным полосам вдоль светлых стен тянулись терраса и балкон. Так строят в красивых долинах, в которых на южном склоне живёт наш народ.

Пока мы рассматривали Рутовый скит, его окна осветились, а из фронтона на высоту мраморных утёсов ударило пламя. По цвету оно было похоже на маленькие язычки пламени в светильнике Нигромонтана — глубоко тёмно-синее — и крона его была зазубрена как чашечка цветка горечавки. Здесь мы увидели, как результат многих лет работы становится добычей стихии, и вместе с домом в прах обращался наш труд. Но на этой земле мы не можем рассчитывать на завершение, и счастлив тот, чья воля не слишком болезненно

связана с его стремлениями. Не построить дома, не создать плана, в фундаменте которого не была бы заложена гибель, и не в наших трудах покоится то, что непреходяще живёт в нас. Это нам открылось в огне, но в блеске его лежало также и что-то радостное. Со свежими силами мы торопливо двигались по тропинке. Было ещё темно, но от холмов с виноградниками и с береговых лугов уже поднималась утренняя прохлада. И душе казалось, будто огни на небосводе немного умеряют свою гибельную силу; вмешивалась утренняя заря.

Мы увидели, что монастырь Марии Лунарис на склоне тоже окутан пожаром. Языки пламени взвивались по колокольне, так что раскалился золотой рог изобилия, который как флюгер раскачивался на капители. Высокое окно церкви со стороны алтаря с иконой уже лопнуло, и в его пустой раме мы увидели стоящего отца Лампроса. За спиной у него как в огненной печи бушевал жар, и мы поспешили к монастырскому рву, чтобы окликнуть патера. Он стоял в пышном облачении;

на его лице, как мы увидели, светилась незнакомая улыбка, словно оцепенение, обычно пугавшее нас в нём, расплавилось в пламени. Он, казалось, внимательно вслушивался, но наших призывов не слышал. Тогда я вынул голову князя из благоухающей амфоры и высоко поднял её правой рукой. От вида её у нас мороз пробежал по коже, ибо лепестки роз впитали влагу вина, так что теперь голова, казалось, засверкала в тёмно-пурпурном великолепии.

Но была ещё и другая картина, которая захватила нас, когда я поднял голову, — мы увидели, как в зелёном блеске лучится розетка, закрывающая ещё невредимое закругление оконной арки, и её внешний вид был нам каким-то чудом знаком. Нам показалось, будто её прообраз высветился для нас в том подорожнике, который отец Лампрос показал нам однажды в монастырском саду, — теперь обнаружилась скрытая связь этого осмотра.

Патер обратил на нас взор, когда мы протянули в его сторону голову, и медленно, наполовину приветствуя, наполовину указывая,

как при consecratio¹, он поднял руку, на которой пламенел крупный карнеол. И будто этим жестом он подал знак ужасной силы, мы увидели, как розетка разлетелась во все стороны золотыми искрами, и со сводом как горы на него обрушились колокольня и рог изобилия.

1 Consecration (лат.) — книж. посвящение в сан (напр. епископа); освящение (храма); церк. освящение хлеба и вина (часть литургии).

29

Петушинные ворота были разрушены; мы по обломкам прокладывали себе дорогу. Улицы были завалены остатками стен и строительными балками, а вокруг в мусоре пожарищ были разбросаны убитые. Мы видели мрачные картины в холодном дыму, и всё-таки в нас жила новая уверенность. Так утро оказывается вечера мудренее; и уже возвращение света после долгой ночи казалось нам чудом.

В этих грудях развалин блекли старые распри как воспоминания о дурном опьянении. Ничего, кроме беды, не осталось, и борцы

отложили знамёна и знаки. Мы ещё видели в боковых улочках мародёрствующий сброд, однако теперь удвоенными постами подтягивались наёмники. В крепости мы встретили Биденхорна, который назначал их, приняв важный вид. Он стоял на площади в золотой кирасе, но без шлема, и похвалялся, что уже «разукрасил ёлки» — то есть он велел схватить первых попавшихся и повесить на вязах городского вала. По боевой привычке он во время беспорядков надёжно окопался — и теперь, когда весь город лежал в руинах, он выступил и разыгрывал гения. Впрочем, он был хорошо информирован, ибо на круглой крепостной башне развевался штандарт Старшего лесничего: красная голова кабана.

Похоже, Биденхорн был уже изрядно выпивши; мы застали его в ужасно хорошем настроении, делавшем его любимцем своих наёмников. Он совершенно неприкрыто потешался над тем, что писакам, виршеплётам и любомудрам Лагуны теперь-де намяли бока. Ему были ненавистны как старый аромат

образованности, так и вино с его духовностью. Он любил тяжёлый эль, какой варят в Британии и в Нидерландах, и он называл народ Лагуны пожирателями улиток. Он был необузданным случным жеребцом и кутилой и непоколебимо верил, что любое сомнение на этой земле следует разрубать верным ударом. Стало быть, он обладал сходством с Бракмаром — только он был гораздо здоровее в том, что презирал теорию. Мы ценили его за непринуждённость и хороший аппетит, ибо если он и был неуместен в Лагуне, то нельзя же ругать козла, пущенного в огород.

К счастью, Биденхорн принадлежал к тем людям, у которых ранний завтрак оживляет память. Таким образом, нам не пришлось напоминать ему о тех часах перед теснинами, когда он со своими кирасирами оказался в бедственном положении. Он там упал, и мы видели, что свободные крестьяне Альта Планы уже занялись тем, что выковыривали его из лат, как то делают с омаром на пышном пиру, для которого украшение — умение

повара ломать панцирь. Желобок резца уже щекотал ему шею, когда подоспели мы с пурпурными всадниками и освободили его и его наёмников. Это была диверсия, когда нам в руки попал молодой Ансгар. Биденхорн знал нас и по нашим мавританским временам — это способствовало тому, что он не стал отнекиваться на нашу просьбу о корабле. Ведь час катастрофы считается часом проявления мавританских качеств. Он предоставил в наше распоряжение бригантину, которую держал в гавани, и выделил нам в сопровождение отряд наёмников.

Улицы, которые вели к гавани, были заполнены беженцами. Но, казалось, что не все собирались покинуть город, ибо мы видели, как из руин храмов уже поднимается дым жертвоприношений, а из развалин церквей мы слышали пение. В часовне *Sagrada Familia*¹ рядом с гаванью события пощадили орган, и его звуки мощно вели песню, которую исполняла община:

1 Святое семейство (лат.).

Князь тоже женщиной рождён
И обратится в прах;
Награбил хоть и много он,
Всему настанет крах.
От человека не придёт желанная подмога,
Поэтому взываем мы надеяться на Бога.

В гавани толпился народ, нагруженный остатками добра. Корабли на Бургундию и Альта Плану были уже переполнены, и каждый из парусников, который слуги баграми отталкивали от набережной, преследовали громкие крики сожаления. Посреди этого бедствия, у причальной тумбы, как под запретом, покачивалась бригантина Биденхорна, размеченная чёрно-красно-чёрными цветами. Она поблескивала тёмно-синим лаком и медными креплениями, и когда я подал ордер на отплытие, слуги стянули парусиновые чехлы с красных кожаных подушек, лежавших на покойных сидениях. Пока наёмники пиками удерживали массу на почтительном расстоянии, нам удалось ещё забирать на борт женщин и детей до тех пор, пока от воды до палубы

корабля не остался едва ли вершок. Потом слуги на вёслах вывели нас из акватории порта, обнесённой стенами, а в открытом море в паруса нам тотчас же подул свежий ветер и понёс нас к горам Альта Планы.

Вода ещё лежала в утренней прохладе, и завихрения образовывали на её поверхности свили, как на зелёном стекле. Но вот над зубцами покрытых снегом вершин взошло солнце, и из дымки низменностей ослепительно вынырнули мраморные утёсы. Мы оглядывались на них, свесив ладони в воду, которая в солнечном свете становилась синей, как будто из глубины её протискивались тени.

Мы не спускали глаз с амфоры. Нам ещё была неведома судьба этой головы, которую мы увезли с собой и которую позднее передали христианам, когда те из обломков восстанавливали в Лагуне большой собор. Они заложили её в фундамент.

Но до того, во дворце родового замка Сунмира, брат Ото воспел её в *eburnum*.

30

Мужчины Альта Планы подтянулись к границам, когда небо окрасил пожар. И так случилось, что ещё до высадки мы увидели на берегу молодого Ансгара; и он радостно помахал нам рукой.

Мы немного передохнули у его людей, в то время как он послал гонца к своему отцу, потом мы медленно поднялись к долинному хутору. Достигнув теснин, мы задержались у большого героона¹ и у нескольких маленьких памятников, сооружённых там в поле. При

1 Героон — храм, посвящённый памяти героя (в древней Греции).

этом мы миновали также узкий горный проход, где с боем вызволили Биденхорна с его наёмниками — на этом месте Ансгар снова протянул нам руку и сказал, что половина всего его движимого имущества отныне принадлежит нам.

В полдень мы заметили хутор в старой дубовой роще, обступавшей нас. Вид его напомнил нам родину, ибо, как и у нас на севере, мы нашли под его глубокой крышей амбары, хлеба и человеческое жильё: всё в одном, хорошо защищённое. С широкого фронтона блестела лошадиная голова. Ворота были распахнуты настежь, и в свете солнца поблескивало гумно. В него через кормушки заглядывал скот, рога которого сегодня были украшены золотым орнаментом. Большой зал был торжественно убран, и из круга мужчин и женщин, ожидавших перед входом, нам навстречу вышел старый Ансгар.

Потом мы вошли через широко открытые ворота, словно в мир отчего дома.

Несколько замечаний к роману «На мраморных утёсах»

Я уже пошёл спать, когда к винограднику подъехала машина с затемнёнными фарами. Ночные визиты были если не тревожными, то, во всяком случае, подозрительными. Я попросил брата заменить меня, и снова улёгся в постель.

Потом через стену я услышал развивающийся разговор — не слова или фразы, а нарастающую интенсивность. Я встал, в пижаме прошёл туда и поздоровался с гостями — было ли их трое иль четверо? Я позабыл их число и имена тоже, кроме одного, имени позднее казнённого. Я также позабыл, о чём говорилось, — вероятно, даже не о политике.

Однако царил странный консенсус, безмолвное согласие. Это стало эпизодом, из которого развился «визит Сунмира».

Это, должно быть, случилось несколькими днями позднее, когда мы собрались отведать рыбы в одном из небольших городков на Боденском озере: князь Штурдца, композитор Герстбергер, брат и другие. На Западном валу уже рыли окопы. Было много выпито; я переночевал в Эрматингене у Герстбергера. Утром меня разбудило его пение.

Я уже не знаю, что произошло ночью, но она оказалась щедрой на картины; сильное опьянение может привести в своего рода транс. Лишь то, что красивые города на берегу горели и языки пламени отражались в воде, осталось мне памятно. То было предвестие пожара, какое знают в Вестфалии и в Нижней Саксонии.

В хорошем расположении духа я сопровождал композитора по фруктовым садам. Осень была в самом разгаре; на дороге лежали зрелые яблоки. Утреннее солнце освещало Райхенау. Действие сформировалось до мель-

чайших подробностей. Его нужно было всего лишь перенести в слова, рассказать то, что без спешки происходило весной и летом 1939 года. Корректуру я читал уже в армии.

Сопутствующее обстоятельство, а именно опасность предприятия, обсуждалось много — меня же оно занимало лишь краем, хотя бы потому, что оно не касалось сути дела и от- ветвлялось в передний план политики. То, что текст бросал вызов и в этом смысле, было мне и моему брату понятно не меньше, чем изда- тельскому редактору «ганзеатов»¹ Вайнрайху, и их руководителю Бенно Циглеру, которому публикация тоже сразу принесла неприятнос- ти. Это достигло своего апогея уже в первую неделю с административной жалобы имперс- кого руководителя Боулера Гитлеру, которая осталась без последствий. О деталях я был ос- ведомлён довольно точно; и самый строгий режим проникаем.

1 Имеется в виду Ганзейский издательский институт в Гамбур- ге, где осенью 1939 г. и был впервые напечатан роман «На мраморных утёсах».

А тем временем я находился на Западном валу и читал в бункере критические заметки, также в иностранных газетах, в которых более или менее отчётливо подчёркивалось политическое отношение. Не было недостатка и в письмах. «Если у нас двое или трое останавливались в уголке и начинали беседовать, то речь шла не о кампании в Польше, а о книге». Так писала об этой книге одна студентка из Гиссена, *après soup*¹. Несколько тиражей были быстро распроданы; когда стало трудно с бумагой, армия решила отпечатать книгу хозяйственным способом, один раз в Риге, один раз в Париже, где вскоре вышел также превосходный перевод Анри Тома.

Было рано осознано, даже в занятой Франции, что «этот ботинок налезает на различные ноги». Сразу после войны ходили слухи о нелегальном печатании на Украине и в Литве. Единственный официальный перевод по ту сторону железного занавеса был опубликован в 1971 году в Бухаресте.

1 *Après soup* — постфактум, потом, задним числом (франц.).

Это, что касается политической стороны дела. Если я, в чём меня упрекают мои друзья, скорее её недооценивал, то у меня были на то свои основания. Хотя политическая ситуация с её удушьем заставила развернуть этот выпад из царства мечты и это было тотчас же понято в данном смысле, встреча — как во временном, так и пространственном плане — всё же выходила за рамки актуального и эпизодического.

Сюда добавилась нарастающая аллергия на слово «сопротивление». Человек может гармонизировать с силами времени, а может стоять к ним в контрасте. Это вторично. Он может на любом месте показать, чего он стоит. Этим он доказывает свою свободу — физически, духовно и нравственно, прежде всего в опасности. А как он остаётся верен себе: это его проблема. Она же и пробный камень стихотворения.

10 декабря 1972 г.

Э. Ю.

Несколько слов о романе и авторе

Послесловие переводчика

Теми, кто обрабатывал пашню и возделывал слово, всегда считалась образцом древняя фраза: «Лучшее боги дают нам даром».

Не построить дома, не создать плана, в фундаменте которого не была бы заложена гибель, и не в наших трудах покоится то, что непреходяще живёт в нас. Это нам открылось в огне, но в блеске его лежало также и что-то радостное.

Если мы поймём драму цветка, нам откроются знаки и идеограммы, по которым мы без труда сможем читать будущее. Только достанет ли у нас мужества в него заглядывать? Многие, верно, предпочли бы обойтись без этого дара...

Истина часто связана с болью, правда далеко не всегда вкусна.

В одном месте Эрнст Юнгер пишет: «Поданный ими хлеб не был каким-то особенным хлебом, многие

сорта которого можно увидеть на рынках. Но я не припоминаю, чтобы когда-нибудь пробовал нечто подобное; это был просто хлеб. Он был не столько нарезан ломтиками, сколько наломан краюхами, рыже-коричневый и липкий, как эта земля после сезона дождей. В нём чувствовались зёрна, возможно, овёс или ячмень, дикие злаки древнейшей силы. Некое представление об этом даёт ржаной хлеб, но не чёрный, в серебристой бумаге разложенный в изысканных магазинах, а коричневый, какой выпекают или, во всяком случае, прежде выпекали в Вестфалии. Здесь был не освящённый хлеб, не хлеб таинств, не повседневный хлеб, вымоленный отцом, а просто превращённая земля, непосредственно хлеб Деметры. Его нельзя было назвать вкусным, но, когда я его кушал, мне казалось, будто всё становится хлебом, будто он излучает свет, освещая даже руки стариков, которые подавали его на стол»¹. Вопрос в том, хотим ли мы этого хлеба? Или какого-то другого? Если этого, мы должны сбросить пелену с глаз и увидеть мир Земли. Юнгер краюху за краюхой отламывает от этого грубого земного хлеба и ест его, поскольку для него не осталось иного хлеба, он должен к нему вернуться, если хочет разобраться, понять

I Ernst Jünger, *Siebzig verweht II*; Dritte Auflage; Klett-Cotta, Stuttgart 1995, стр. 22-23. (Перевод Е. Воропаева).

и описать модернистский мир. Если мы желаем такого внеисторического хлеба (хлеба Земли), наши оценки событий будут совсем иными. Другим станет наше зрение и наш язык. Для романа «На мраморных утёсах» Эрнст Юнгер выбирает язык «магического реализма», опробованный им в каприччо «Авантюрное сердце» (1938)¹.

Замысел этого романа, который сначала назывался «Королева змей», начал складываться у автора в 1938 г., когда он ещё жил в Юберлингене на Боденском озере. Он продолжил работу над книгой и после переезда в апреле 1939 г. в деревушку Кирххорст, расположенную к северо-востоку от Ганновера, столицы Нижней Саксонии. В это время он записал в своём дневнике: «Впервые работал в новом доме. «Королева змей» — быть может, мне в голову придёт более удачное заглавие, чтобы нас, чего доброго, не приняли за офитов. Порой мне кажется, что я не до конца проникаюсь воздействием записи, когда мысленно перечитываю её. Сие я заключаю, например, из того, что короткое предложение кажется мне незавершённым, тогда как я всё же уверен, что именно сжатая фраза часто производит неизгладимое впечатление. Предложение в том виде, как его

¹ В русском переводе: Эрнст Юнгер, «Сердце искателя приключений», вторая редакция «Фигуры и каприччо»; Москва, Ad Marginem, 2004; перевод А. Михайловского.

записывает автор, отличается от предложения, каким его воспринимает читатель. Случись мне обратиться к запискам или письмам, о которых я и думать забыл, что они начертаны моим пером, проза представляется мне крепче, сочнее»¹. И спустя две недели добавляет: «Королева змей». Я собираюсь присвоить этому капрично новый заголовок, а именно «На мраморных утёсах». Единство красоты, величия и опасности, как мне представляется, проявится в нём, пожалуй, ещё лучше»².

О чём же эта книга? Перед нами роман-провидение и концепция жизни в глубокой гармонии с природой и культурой, жизни, открытой тайне мироздания, трудолюбивой, а главное, лишённой низкого страха. Страху в человеке и страху конкретно в себе Э. Юнгер посвящает не одну страницу и не один момент своих размышлений. По мысли автора, человеку, чтобы приблизиться к свободе, нужно освободиться от страха. Не то, чтобы Юнгер не понимал физическую, даже мистическую природу страха, но он ищет ценности и приоритеты, способные выйти для человека на первое место, тем самым отодвинув страх. «Голый страх, — пишет Юнгер, — всегда призывает ужасную кару. Тот, кто убегает, словно приглашает

1 Эрнст Юнгер, «Сады и дороги», AdMarginem, М. 2008; запись от 3 апреля 1939 г., стр. 29; перевод Е. Воропаева.

2 Там же, 16 апреля 1939 г., стр. 47; перевод Е. Воропаева.

к преследованию; а человек, замысливший что-то недоброе, сразу бросается на свою жертву, стоит ему заметить малейшие признаки страха. /.../ Как люди, мы несём на себе некую печать суверенности, сломать каковую непросто, если только мы сами её не повредим. Следует только, подобно Марию, знать, что ты неприкосновенен»¹.

Так бесстрашно ведёт себя главный герой и его брат, несколько иного свойства смелость князя Сунмира и «мавританца» Бракмара, а также дикая отвага старого Беловара. У последнего кровная месть, узы клана и пастушья вольность диктуют ему образ действий. В князе же, судьбу которого в реальности повторил казнённый режимом в 1944 г. Адам фон Тротт цу Зольц, говорит голос древнего рода, а в Бракмаре — рационалистическая позиция «мавританства»². Автор называет «мавританство» орденом и, работая над книгой, старается выразить на бумаге то, что он хорошо чувствовал в душе.

- 1 Эрнст Юнгер, «Сады и дороги», AdMarginem, М. 2008; запись от 18 апреля 1939 г., стр. 50; перевод Е. Воропаева.
- 2 А. Михайловский даёт такое пояснение: «Слово «мавританцы» обозначает у Юнгера «техников власти», для которых характерна «смесь человеконенавистничества, атеизма и превосходного технического ума». Таким образом автор пытается описать совершенно новый человеческий тип, свойственный веку. Часто с «мавританцами» связывают указание на национал-социалистов, которые также выведены как «лемуры».

«Королева змей». Мои сегодняшние наброски о мавританцах, меня не удовлетворяют; в моём воображении этот орден живёт отчётливее, чем в изложении. Показать, как в пору упадка, когда скапливается масса затхлой материи, рационализм становится самым твёрдым принципом. Затем, когда вокруг доктрины аморальной техничности образуется кружок, злой дух притягивает автохтонные силы, чтобы вернуть себе прежнюю власть, тоска по которой всегда ведь живёт на дне их сердец. Так в современной России просвечивает старая царская Россия. Таков и Старший лесничий; в подобных фигурах нигилизм находит своего хозяина. Впрочем, в отношении Петра Степановича к Ставрогину ситуация кажется перевёрнутой: техник пытается заключить союз с автохтоном, ощущая у себя недостаток легитимной силы.

Описывая отношения такого рода, лучше всего, конечно, целиком положиться на продуктивную фантазию, но делу в любом случае не повредит, если детально проработать их конструкцию. Впрочем, следует избегать того, чтобы рассказ приобретал чисто аллегорический характер. Он должен, совершенно вне временной соотнесённости, уметь жить исходя из собственной сути, и даже хорошо, если останутся тёмные места, которые порой не под силу объяснить даже самому автору, именно они, как

я со временем понял, нередко являются залогом позднейшего плодородия. Так, характер Старшего лесничего, когда он привиделся мне в одну из ненастных ночей в Гарце, представлялся мне ещё тёмным; а уже сегодня я вижу, что те черты, отмеченные в нём тогда, не лишены смысла даже в более широком контексте»¹.

Эрнст Юнгер перенёс развитие описываемых событий в один из тех «идеальных ландшафтов», которые встречаются нам также в других книгах: «Гелиополис»² или «Оймесвиль». Своеобразное безвременье и географическая неопределённость — береговая полоса Большой Лагуны — это композиция из средиземноморских и алеманских видов ландшафта является не только стилевым средством избегающего оценок повествования, но и выражением неисторического понимания Юнгером истории. Но, скажем, Пабло Пикассо заинтересовал реальный прототип ландшафта, когда в июле 1942 г. Юнгер навестил художника в его парижской мастерской: «Во второй половине дня у Пикассо. /.../ Среди картин, стоявших там, мне понравились два простых женских

1 Эрнст Юнгер, «Сады и дороги», AdMarginem, М. 2008; запись от 5 апреля 1939 г., стр. 32–34; перевод Е. Воропаева.

2 В русском переводе «Гелиополь»: Немецкая антиутопия; Москва, «Прогресс», 1992; Эрнст Юнгер, роман «Гелиополь»; стр. 341–642; перевод Г. Косарик.

портрета и потом, прежде всего, фрагмент морского побережья, который, чем дольше я вглядывался в него, тем ярче и интенсивнее расцветал красными и жёлтыми тонами. Рассматривая его, мы вели беседу о рисовании и писании по памяти. Пикассо осведомился при этом о том реальном ландшафте, который следовало бы искать за ландшафтом в «Мраморных утёсах»¹.

В борьбе неизвестных властей из лесов и болот с ориентированными на традицию и отточенно-утончёнными силами Кампаньи и Лагуны отражается контрмодель мифического естествознания, в которой всегда по-новому («история в сжатом виде») повторяет себя исконный образец. Изображённый Юнгером в великолепно-ужасных картинах красочный закат цветущей старой культуры в ретроспективном взгляде и с большой внутренней и пространственной дистанции должен был спровоцировать внимательного современника хотя бы уж потому, что на хвастливые реляции властей о незыблемости их могущества он отвечал сентенцией Гераклита: «Человеческий порядок подобен космосу в том, что время от времени он, чтобы возродиться по-новому, должен погружаться в огонь».

1 Эрнст Юнгер, «Первый парижский дневник», запись от 22 июля 1942 г; перевод Е. Воропаева.

Перед тёмными кулисами формирующейся тирании Эрнст Юнгер изображает отшельническое, живущее в согласии с природой существование. С братом Ото, реальным прототипом которого был Фридрих Георг Юнгер, описателем ботаники, натурфилософом и поэтом, рассказчик противостоит лемурным бандам Старшего лесничего. По мере распространения ужаса оба брата углубляются в написание иероглифов природы, в поиски её языка, причём отец Лампрос приобщает их к метафизическому тайному знанию. Как тип монаха, занимающегося ботаническими исследованиями в близлежащем монастыре Марии Лунарис, он напоминает фигуру мага Нигромонтануса из появившегося чуть раньше сюрреалистического дневника Юнгера «Авантюрное сердце». То, как он с помощью специальной оптики мог «стереоскопическим взглядом» проникать под поверхность и в глубь явлений. Созерцательное познание неизменной массы природы и космоса, которая выражается в симметрии флоры и кристаллов, вызывает то часто заклиняемое «веселье», которое формирует атмосферный фон книги. Важную роль в сохранении внутренней стойкости играет каждодневный упорный труд. И здесь уместно, на наш взгляд, вспомнить слова Льва Толстого из «Анны Карениной»: «Бог дал день, бог дал силы. И день и силы

посвящены труду, и в нём самом награда. А для кого труд? Какие будут плоды труда? Это соображения посторонние и ничтожные».

Ясное превосходство наблюдателя, каким в «Мраморных утёсах» идеализирует его Эрнст Юнгер и которое он уже через несколько лет — как офицер и автор дневниковых «Излучений» — докажет на собственном примере в занятом Париже, жизненно важно, потому что в эпицентре террора истории оно превращает время в безвременность, ведущую к трансцендентности. Сегодня, вопреки вездесущему экологическому сознанию, платоновский мир представлений Эрнста Юнгера должен казаться радикально устаревшим. Хотя на самом деле — это единственный способ сохранить достоинство. «Мы обосновались здесь, — говорится на одной из страниц романа, — планируя фундаментальным образом заниматься растениеводством, и поэтому начали с издавна зарекомендовавшего себя упорядочивания духа благодаря дыханию и питанию. Как все вещи на этой Земле, растения тоже хотят что-то сказать нам, но нужно ясное сознание, чтобы понять их язык. Хотя в их прорастании, цветении и угасании кроется иллюзия, которой не избежит ничто сотворённое, следует всё же очень хорошо почувствовать то, что неизменно заключено в ларце

внешнего облика. Искусство умения так заострять свой взгляд брат Ото называл «отсасыванием времени» — даже если он имел в виду, что абсолютная пустота по эту сторону смерти недостижима». Как никакой другой автор XX столетия Эрнст Юнгер всю жизнь художественно описывал феномены природы, пытаясь расшифровать её тайный язык. Своими природными медитациями («Семьдесят минуто»¹), но прежде всего, конечно, книгой о жуках «Субтильные охоты»² (во второй половине двадцатых годов Юнгер изучал энтомологию в Лейпциге и Неаполе), он открыл мир чудес, который давно исчез для современного человека.

Тут следует коснуться ещё одного немаловажного вопроса. Уве Вольфф справедливо указал на «поэтическую теологию» Юнгера: «Авторство Эрнста Юнгера прочно религиозно. Он понимает поэзию как молитву, как исполненный благодарности ответ на воспринятые из природы знаки Божественного автора, ответ на Радостное послание, которое дарится безвозмездно». В «Мраморных утёсах» эта поэтическая теология впервые развивается эпически, одновременно оказываясь пригодной там, где

1 Ernst Jünger, *Siebzig verweht I– V*; Dritte Auflage; Klett-Cotta Stuttgart 1995; перевод Е. Воропаева.

2 *Subtile Jagden*, Штутгарт, изд. *Klett*, 1967.

происходит столкновение между желанием смысла натурфилософа и миром ужаса Старшего лесничего. Читатель сам найдёт на страницах романа детальное описание этого столкновения. Нас же интересует формирование указанной теологии, без которой, по мысли автора, немыслимо понимание мироздания. С размышлениями подобного свойства мы будем сталкиваться почти во всех произведениях Эрнста Юнгера. 27 апреля 1971 года он записал в своём дневнике:

«Потом о «воскресении». В нём я едва ли когда сомневался — напротив: это наше внутривременное существование со временем представлялось мне всё более нереальным, тонким и призрачным.

Воскресение выглядит достовернее возвращения, в котором у меня было так же мало сомнения — например, в возвращении мифических фигур в фигурах исторических — ибо уже факт наследования физиономий и характеров достаточно ясно свидетельствует о нём. Но оно остаётся ограниченным природной, мифической и исторической взаимосвязью. Воскресение же из мёртвых, напротив, является вневременным, оно есть чистое проявление неразрушимой субстанции.

Поэтому когда отец и мать или даже пекарь, живущий на углу, являются нам в таком образе, то это

может на мгновение, пожалуй, вызвать удивление и испуг, но потом полную уверенность и согласие. Иллюзия, в которой мы обитаем, как в ракушке, отпадает; затем следует вздох облегчения — даже хитрое соглашение: преодолён обман времени; не только личное существование, но и порядок мира сдвигаются в им подобающей мере. Так начинаются большие разделы.

Преобразование и возвращение: часто и ступенями; воскресение же лишь один раз. Преобразование в промежуточном царстве, воскресение в совершенно новом измерении»¹.

Только вера и глубочайшее проникновение в тайны природы спасают главного героя и его брата от нигилистического отчаяния.

У Юнгера вырабатывается среди прочего понятие, обозначенное им французским словом «*désinvolture*», которое можно перевести как «непринуждённость». Для писателя же оно много шире и подразумевает ту магию веселья, которая используется для мира и для того, чтобы помочь человеку удержаться в «самом внутреннем», в том призрачном подобии, которое позволяет ему выстоять перед лицом уничтожения, поскольку он знает о новом начале. В декабре 1942 г.

1 Ernst Jünger, *Siebzig verweht II*; Dritte Auflage; Klett-Cotta Stuttgart 1995, стр. 16; перевод Е. Воропаева.

английский критик Ф.А. Фойгт восторженно отзывался о гуманном, ободряющем духе «Мраморных утёсов»: «Это произведение, точно сигнальная ракета, внезапно вырвавшаяся из темноты и осветившая местность. Оно дало поддержку и подействовало как средство согласования между теми, кто искал укрепления против угрозы или искушения тирании. Среди читателей, которых я знал, никто не сомневался в том, что в видениях этой книги было очевидно познание нашего собственного современного положения. Люди тёрли себе глаза, ибо было почти невероятно, что такое возможно».

Конечно, «Мраморные утёсы» наполнены автобиографическими реминисценциями автора: «пурпурные всадники» на Альта Плана отсылают нас к опыту Первой мировой войны, «Рутовый скит» указывает на хижину на винограднике в Юберлингене у Боденского озера, где Эрнст Юнгер жил с 1936 по 1939 год и где его часто навещал брат Фридрих Георг.

Но хотя этим произведением Юнгер выказал несомненное чутьё подводных течений истории, «Мраморные утёсы» останутся в первую очередь языковым шедевром высшего уровня, а их автор — неподражаемым стилистом. Кто может остаться равнодушным к рапсодическому зачину книги, апеллирующему к самым интимным уголкам нашей души: «Вам всем

знакома щемящая грусть, которая охватывает нас при воспоминании о временах счастья. Как невозвратны они, и как немилосердно мы разлучены с ними, словно это было не с нами...» Это — тот магический хлеб Земли, о котором говорилось в начале этой статьи.

«На мраморных утёсах» до сего дня остаётся самым поэтическим произведением Эрнста Юнгера и представляет собой наиболее удачный пример его эстетики чудесного, в которой обречённый на смерть мир ещё раз обретает краски и блеск.

Санкт-Петербург
Евгений Воропаев

Эрнст Юнгер
На мраморных утесах
Роман

Издатели:

АЛЕКСАНДР ИВАНОВ
МИХАИЛ КОТОМИН

Выпускающий редактор — Юлия Камалова
Редактор — ПЕТР СИЛАЕВ
Художник — АНДРЕЙ БОНДАРЕНКО
Корректор — Людмила Камалова
Компьютерная верстка — Марина Гришина

Подписано в печать 05.10.09
Формат издания 80×100/32
Печать офсетная. Тираж 2000 экз. Заказ №

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленного электронного оригинал-макета
в ИПК «Ульяновский Дом печати»
Россия, 432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

ООО «Ад Маргинем Пресс»
105082, Москва, Переведеновский пер., д. 18, стр. 2
тел./факс: (495) 988-15-32, e-mail: info@admarginem.ru

Все новости издательства
Ad Marginem на сайте: www.admarginem.ru

По вопросам приобретения книг
издательства Ad Marginem
обращайтесь в торговый отдел ИГ «АСТ»

Оптовые закупки:
129085, Москва, Звездный б-р, 21, 7-й этаж
тел.: +7(495) 615-01-01
факс: +7(495) 615-51-10
e-mail: zakaz@ast.ru
Курьерская доставка по Москве и ближнему Подмосквью:
тел. + 7(495) 259-60-44, + 7(495) 259-41-71
Книга-почтой: 123022, Москва, а/я 71, www.shop.avanta.ru

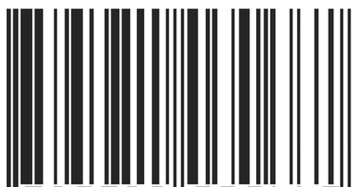
ERNST JUNGER

AUF DEN MARMORKLIPPEN

Эрнст Юнгер — романтический герой ушедшего столетия, путешественник, ученый, философ, солдат, поистине “авантюрное сердце” целой эпохи. Участвовал в двух Мировых войнах, 14 раз ранен, кавалер высших орденов почти всех государств Европы, друг Пикассо, Жида, Хайдеггера, Кокто, Паунда, Борхеса, Генри Миллера, основатель философского движения “консервативной революции”, непримиримый критик как ультраправых, так и либералов, — ему будто было тесно в своем времени.

Он писал “На мраморных утесах” в 1937, а читал корректуру уже на фронте, в 1939. Это был его первый художественный роман и, одновременно, изысканная эпитафия всему предыдущему времени — отрезку между двумя Мировыми, когда консервативные взгляды еще не означали принадлежности к властной элите, а немецкие писатели еще могли быть желанными гостями в литературных салонах Парижа. Этот яростный и беспощадно-красивый текст высокого модерна в 1940-х стал манифестом стиля и борьбы для всей читающей Европы, без различия наций и языков.

Юнгер дожил до 103 лет, став последним из тех, кто носил на своей груди Pour le Merit, — высочайший орден Кайзеровской Германии. Последний рыцарь двадцатого века.



9 785911 030667 >

AD MARGINEM